

А. Ф.  
ПИСЕМСКИЙ

*Избранное*



# Алексей Феофилактович Писемский

## Старческий грех

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=661215](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=661215)*

*А.Ф.Писемский. Собр. соч. в 9 томах. Том 2: Издательство «Правда», биб-ка «Огонек»; М.:; 1959*

### Аннотация

«Если вам когда-нибудь случалось взбираться по крутой и постоянно чем-то воняющей лестнице здания присутственных мест в городе П-е и там, на самом верху, повернув направо, проникать сквозь неуклюжую и с вечно надломленным замком дверь в целое отделение низеньких и сильно грязноватых комнат, помещавших в себе местный Приказ общественного призрения, то вам, конечно, бросался в глаза сидевший у окна, перед дубовой конторкой, чиновник, лет уже далеко за сорок, с крупными чертами лица, с всклокоченными волосами и бакенбардами, широкоплечий, с жилистыми руками и с более еще неуклюжими ногами...»

# Содержание

I	4
II	11
III	40
IV	55
V	63
VI	68
VII	78
VIII	86
IX	91
X	103
XI	133
XII	145
XIII	151
XIV	160
Примечания	164

**Алексей Феофилактович  
Писемский  
Старческий грех  
*Совершенно  
романическое  
приключение***

**I**

Если вам когда-нибудь случалось взбираться по крутой и постоянно чем-то воняющей лестнице здания присутственных мест в городе П-е и там, на самом верху, повернув направо, проникать сквозь неуклюжую и с вечно надломленным замком дверь в целое отделение низеньких и сильно грязноватых комнат, помещавших в себе местный Приказ общественного призрения, то вам, конечно, бросался в глаза сидевший у окна, перед дубовой конторкой, чиновник, лет уже далеко за сорок, с крупными чертами лица, с всклокоченными волосами и бакенбардами, широ-

копелчий, с жилистыми руками и с более еще неуклюжими ногами. Это был бухгалтер Приказа Иосаф Иосафыч Ферапонтов. На нем, как и на прочей канцелярии, был такой же истасканный вицмундир, такие же уродливые, с сильно выдавшимся большим пальцем, сапоги, такие же засаленные брюки, с следами чернил и табаку на коленях, и только в довольно мрачном выражении лица его как-то не было видно того желчного раздражения от беспрестанно волнующейся мелкой мысли, которое, надобно сказать, было присуще почти всей остальной приказной братии. Видимо, что бухгалтер думал и размышлял о более возвышенных и благородных предметах, чем его подчиненные. Несмотря на это, кажется бы, преимущество с его стороны, он собственно за свою наружность и был не совсем любим начальством. Все новые губернаторы, вступая в должность и посещая в первый раз Приказ, получали об нем самое невыгодное мнение, может быть, потому, что в то время, как все прочие чиновника встречали их с подобострастно-веселым видом, один только Иосаф стоял у своей конторки, как медведь, на которого шли с рогатиной.

– У вас бухгалтер, должно быть, скотина, – замечал обыкновенно губернатор члену Приказа.

– Для службы-то, ваше превосходительство, очень уж полезен, – отвечал тот на это тоном глубокого со-

жаления, – у нас тоже дело денежное: вот, бывало, и предместник вашего превосходительства, как за каменной стеной, за ним спокойно почивать изволили.

– Гм!.. – произносил глубокомысленно губернатор, и только этим бухгалтер спасался на своем месте. Каждый день, с восьми часов утра до двух часов пополудни, Ферапонтов сидел за своей конторкой, то просматривая с большим вниманием лежавшую перед ним толстую книгу, то прочитывая какие-то бумаги, то, наконец, устремляя печальный взгляд на довольно продолжительное время в окно, из которого виднелась колокольня, несколько домовых крыш и клочок неба. О чем бухгалтер думал в это время, – сказать трудно; но по всему заметно было, что мысль его была шире того небольшого пространства, в котором являлся ему божий мир сквозь канцелярское окно, шире и глубже даже тех мыслей, которые заключались в цифрах лежавшей перед ним книги.

Часов с одиннадцати обыкновенно в Приказ начинала собираться публика, и первые являлись купцы с вкладами. Случалось так, что какой-нибудь из них, забежав наскоро в Приказ, тяжело дыша и с беспокойными глазами, прямо обращался к бухгалтеру:

– Член здесь-тко-с али нет?

– У губернатора, – отвечал Ферапонтов.

– Эхма-тка! – говорил купец, прищелкнув языком и

почесав в затылке. – Деньжонки бы внести надо... задержат, пожалуй!.. А делов-то... делов...

– Давайте, – говорил ему на это лаконически Иосаф, и купец, нимало не задумываясь, вытаскивал из кармана иногда тысяч пять, шесть, десять серебром и отдавал их ему на руки, твердо уверенный, что завтра же получит на них билет.

Все помещики, имения которых были заложены в Приказе, тоже знали Иосафа и тоже прямо обращались к нему. Более смирные из них даже чувствовали к нему некоторый страх.

– Асаф Асафыч? А Асаф Асафыч? – говорили они, подходя не без робости к его конторке (бухгалтер не любил на первый зов откликаться). – А что имение мое назначено в продажу? – заключал проситель уже жалобным голосом.

Ферапонтов взглядывал на него. Имени он почти ни у кого не спрашивал и каждого узнавал по лицу.

– Сахаровых? – произносил он, развертывая толстую книгу.

– Сахаровых, – отвечал робко помещик.

– Семнадцатого апреля назначено в продажу, – отвечал Ферапонтов.

Помещик окончательно терялся.

– Да как же это, ей-богу, вот те и раз! – произносил он почти со слезами на глазах.

Бухгалтер иногда, после нескольких минут молчания, снова разворачивал книгу и, просмотрев ее внимательно, произносил:

– Перезаложите. Перезаложить можно.

– Можно? – спрашивал помещик с расцветающим лицом.

– Можно. А вы и не знали того? – говорил Иосаф Иосафыч: в голосе его слышалась легкая насмешка.

Помещик от радости почти вприпрыжку уходил из Приказа.

– Пред сенным ковчегом скакаше играя!.. – произносил ему вслед столоначальник первого стола, большой шутник и зубоскал. При этом молодые писцы самым искренним образом фыркали себе под нос, а которые постарше, улыбались и качали головами. Один только Иосаф в подобных случаях хоть бы бровью поводил. Он вообще с канцелярией никогда не вступал ни в какого рода посторонние разговоры и был строг: в особенности почти что гонению с его стороны подвергались молодые, недоучившиеся дворяне, поступившие на службу так только, чтобы вилять от нее хвостом. В конце почт каждого месяца он вдруг входил в присутственную комнату и начинал мрачно смотреть в окно.

– Что вы тут: на что смотрите? – спрашивал его неперемный член.



– Так, ни на что-с, – отвечал Иосаф и потом, после короткого молчания, прибавлял: – Петрова бы вот надо совсем из службы выгнать.

– А что такое? – спрашивал неперемный член с некоторым испугом. Петров был, как известно, личным протеже начальника губернии.

– А то, что уж ружье завел, – отвечал Ферापонтов.

– Скажите, пожалуйста! – произносил неперемный член горестно-удивленным тоном и звонил.

– Позвать Петрова! – говорил он, и Петров, очень еще молодой человек, с вольнодумно отпущенными усиками и с какою-то необыкновенно длинною шеей, в тоненьком, легоньком галстуке и в прюнелевых ботинках вместо сапог, являлся.

– Вы уж ружье завели? – спрашивал его неперемный член.

Петров вспыхивал до самых ушей.

– Я, помилуйте, Михайло Петрович, взял только у товарища на подержание... Помилуйте-с! – отвечал он прерывисто нетвердым голосом.

– На подержание вы взяли!.. – возражал ему бухгалтер. – Целый день продуваете да замок отвинчиваете... Что-нибудь одно: либо за утичьими хвостами бегать, либо служить.

– Я служить стараюсь! – говорил Петров, обращаясь более к неперемному члену.

– Кабы старались, так бы не то и было, – возражал ему снова бухгалтер. – Мать-то, этта, приезжала и почесть что в ногах валялась и плакала: последнюю после отца шубенку в три листика проиграли!.. Еще дворянин! Точно зараза какая... только других портите и развращаете.

– Что ж, маменька, конечно что, вольна все говорить, – отвечал Петров, опуская невиннейшим образом глаза в землю.

– Все на вас говорят! – произносил с досадою Иосаф и уходил из присутствия.

За такого рода суровость, а главное, я думаю, и за образ своей жизни, он и прозван был от своих подчиненных «отче Иосафий».

Но в самом ли деле этот человек был таков?.. Нет, и тысячи раз нет!!!

## II

Как ни давно это было, но мы еще очень хорошо помним сквернейший сентябрьский день, сырой, холодный; помним длинную залу, тоже сырую и холодную, с распростертыми над нами по потолку ее всевозможными богами и богинями Олимпа, залу почти без всяких следов жилья человеческого. Посредине ее стоял огромный стол, покрытый красным сукном. По двум стенам шли сплошь шкафы с книгами и с стоявшими наверху их греческими мудрецами. Тщетно старался я прочитать заглавия некоторых книг и ничего не понял. Какая-то экзегетика, герменевтика<sup>1</sup> и тому подобное... бог знает что такое. По третьей стене, под портретом государя, нарисованного в короне и порфире, стояли мы, человек тридцать мальчиков, в новеньких вицмундирчиках и с глубокой тоской на сердце от грядущей нам будущности. По четвертой стене, у окон, размещались на креслах наши родители. Маменька Сокальского, например, очень полная и нарядная дама, чрезвычайно важничала: развалившись в креслах, она с таким видом играла своей лор-

---

<sup>1</sup> Экзегетика, герменевтика – здесь богословские дисциплины, в которых рассматривались правила и приемы толкования текстов священного писания.

неткой, которым явно хотела показать, что она делает величайшую честь этому месту, в которое, по чувству материнской любви, решила прийти и просидеть полчаса. Папенька Арнаутова, кривой помещик, сдавал сына на выучку, кажется, точно с таким же чувством, с каким он засыпал и рожь на мельнице. «Было бы-де всыпано, а там и баста: само смелет как надо!» Вице-губернаторских детей, двух братьев, привел худощавый француз-гувернер и, видимо, не желая, чтобы они смешались с плебеями, поставил их вдали от нашей группы, а сам присел на окне и с каким-то особенным эффектом вывернул голени у ног. Я с большим любопытством смотрел на его узенькие, нежнопепельного цвета брюки, и невольно, сравнив их с сильно вытянутыми на коленях штанами учителя математики, а также и с толстыми, сосископодобными ногами учителя немецкого языка, я тут же убедился, что одна только французская нация достойна носить узенькие панталоны, тогда как прочему человечеству решительно следует ходить в шароварах. Детей жандармского полковника, тоже двух братьев, привел солдат-жандарм и почему-то очутился тут же в зале между родителями. Он преспокойно стоял в простенке и стеснялся отчасти только тем, что нос его, более привыкший находиться на улице и в холодных сенях, чем в теплых апартаментах, очень уж разне-

жился, так что он беспрестанно принужден был подтирать его своей белой рукавицей. Вблизи от него и даже очень дружелюбно обращаясь к нему с разного рода семейными разговорами, сидел секретарь гражданской палаты, тоже приведший сынишку, с отгнившими почти от золотухи ушами.

– Ты, верно, дядькой при детях? – говорил он.

– Никак нет, ваше благородие, я на кухне, при повах; поварам подсобляю, – отвечал жандарм.

– Так, так... а что полковница-то родила али еще нет?

– Никак нет, ваше благородие, ждется еще пока... что бог даст.

– Так, так! – заключал секретарь и начинал играть серебряной табакеркой, внушавшей сильное подозрение, что это был дар за измену Фемиде. Между всеми этими лицами, надобно сказать, более всех поразил мое детское внимание мизерный чиновничешко в поношенном вицмундиришке, в худеньких штанах и в дырявых сапогах. Он беспрестанно ежился, шевелился, как будто бы его сейчас только круто посолили и посыпали сверху перцем. Он то садился на самый краешек стула, то вскакивал и подбегал к секретарю, кланялся перед ним, что-то такое рассказывал ему, и тот на все это отвечал ему с обязательным полупрезрением. Не ограничиваясь секретарем, чинов-

ничишко относился даже к madame Сокальской, но та уж ему ничего не отвечала. От родителей чиновник перебежал к нашей группе и, обдав нас сильным запахом водки, прямо обращался к довольно шершавому малому лет шестнадцати, одетому тоже в вицмундирчик; но боже мой! В какой вицмундирчик: сшитый не только что из толстого, но даже разноцветного сукна, так что туловище у него приходилось темносинее, а рукава голубые. Чиновничшко с самым строгим видом что-то такое, должно быть, внушал ему. Мальчик, в свою очередь, тоже строго смотрел на него и сохранял упорное молчание. Вошли директор (черноволосый мужчина, с необыкновенно густыми и длинно отросшими бровями), и за ним, как гиена, выступал сутуловатый и как бы вся и все высматривающий инспектор. Мы все невольно сделали движение вытянуть руки по швам. Родители привстали. Жандарм проворно отнял от носу белую рукавицу. Чиновничшко поклонился ученому начальству самым униженно-подлым образом. Директор начал читать список поступивших в гимназию:

– Павел Аксанов?

– Я! – пискнул белокуренький мальчик.

– Гавриил Беляев?

– Я! – отвечал еще тоньше уже черноволосый мальчик.

– Михаил Гавренко?

– Я! – отвечал тоже тонко и тоже брюнетик.

Словом, постоянно почти слышались нежные дисканты, но вдруг директор, несколько замявшись в языке, произнес:

– Иосаф Ферাপонтов?

– Я! – отвечал на это почти мужской уже бас, так что мы все невольно оглянулись.

Это откликнулся мальчик с разными рукавами. Директор тоже, кажется, был озадачен.

– Господин Ферапонтов? – повторил он.

– Я-с, – отвечал мальчик тем же возмужалым голосом.

– Подойдите сюда.

Ферапонтов подошел.

В это время, несколько сбоку, к директору приблизился и чиновничшко.

На лице почтенного педагога вдруг изобразился ужас. Пожимая плечами и все более и более закидывая голову назад, он произнес:

– Что такое? Что такое? Где мы? Не в эфиопских ли степях? Какие у вас рукава? Гимназист вы или арлекин?

Все лицо мальчика загорелось стыдом. Видимо, что это была самая больная для него струна. Вместо него стал отвечать чиновничшко.

– Ну, бабушка, что ж? Виноват, не имею состояния. Не погубите, благодетель: не имею чем одеть лучше, – проговорил он – и ни много ни мало бух директору в ноги.

Я видел, что мальчик при этом вздрогнул. Директор тоже возмутился подобным самоунижением.

– Встаньте, я не бог ваш и не царь! – произнес он недовольным голосом и потом, обращаясь к мальчику, прибавил: – Который вам год?

– Шестнадцатый, – отвечал тот.

Директор несколько времени смотрел ему прямо в лицо самым оскорбительным образом.

– Гм!.. Шестнадцатый год и всего только в первом классе! – произнес он насмешливо. – Зачем уж было в таком случае поступать к нам и своей шерстью портить целое стадо?

– Говорено было, благодетель, ему это, так ведь упрямец! – подхватил вместо сына чиновничко, чуть не до земли кланяясь директору, – лучше бы в службу шел да помогал бы чем-нибудь отцу, а я что? Не имею состояния, – виноват!

– Ступайте на свое место! – обратился директор к мальчику.

Тот пошел. Как ни старался он смигнуть слезы, но они против воли текли по его щекам!

Когда нас распустили и мы стали в прихожей наде-



вать наши шинельки, мне очень хотелось посмотреть, что наденет на себя Ферапонтов, но он пошел так, в одном только вицмундирчике. «Так вот отчего, – подумал я, – от него так пахнет сыростью. Он и в гимназию, видно, пришел насквозь пробитый дождем». Чиновничешко, накинув на себя какое-то вретисце вместо шинели, поплелся тоже за ним и начал опять ему что-то толковать и внушать. Мальчик пошел, потупя голову.

Очень скоро после того между всеми нами узналось, что гадкий чиновничешко был некогда служивший в консистории архивариус, исключенный из службы за пьянство и дебоширство, а разношерстный Ферапонтов (прозвище, которое мальчик получил на самых первых порах) был родной сын его. Жили они в слободе, версты за четыре от гимназии, в маленьком, развалившемся домике, и мальчик, говорят, даже стряпал у отца за кухарку. Каждое утро он являлся в класс, облитый потом, хотя по-прежнему ходил в одном только вицмундирчике. Нанковая чуйка, с собачьим воротником, появилась на его плечах только в начале ноября. Он приходил обыкновенно с обедом, и мне всегда очень хотелось узнать, что такое он приносил с собою, старательно завернутое в сахарную бумагу. Мы все, например, очень хорошо знали, что детям жандармского полковника, с тем же жандармом,

присылали всегда из родительского дома и котлет и жареной курицы, вкусный запах которых, пробиваясь из оловянной миски, сильно раздражал наши голодные ноздри; но что ел Иосаф и где совершал этот акт, никому было не известно!

Однажды мы сидели в классе математики. Учитель ее, жестокосердый меланхолик, сидел погруженный в глубокую задумчивость. Собственно учением он нас не обременял, но наблюдал более всего тишину и спокойствие в классе. Мы все сидели как мухи, прихваченные морозом. Вдруг белобрысый Аксанов, оказавшийся ужасно гадким мальчишкой, встал.

– Никита Григорьич, – начал он пищать своим тоненьким голосом, – позвольте мне пересесть. С Ферапонтовым сидеть нельзя-с: он луку наелся.

Учитель мрачно и вопросительно взглянул на него.

– Луком дышит на меня-с, сидеть около него невозможно-с, – объяснил Аксанов.

Учитель, наконец, понял его.

– Ферапонтов, подите сюда, – проговорил он.

Ферапонтов, весь вспыхнув, подошел.

– Дохните на меня.

Ферапонтовдохнул.

– Фай! – произнес учитель, проворно отворотив нос. – И не стыдно вам это?.. Не стыдно благородному мальчику делать такие гадости?

Ферапонтов молчал.

– Подите на колени.

Ферапонтов, не поднимая глаз, пошел и встал, а учитель снова погрузился в свою задумчивость.

С ударом звонка Ферапонтов встал и сел было на свое место, но Аксанов опять к нему привязался:

– Луковник, луковник! – дразнил он его, вертясь перед ним.

– Отстань! – повторял ему несколько раз Иосаф, с тем терпеливым выражением, с каким обыкновенно большие собаки гоняют маленьких шавок.

Но Аксанов не унимался.

– Луковник, луковник!.. Разноперый луковник!.. – говорил он и дернул Ферапонтова за его голубой рукав.

Движения этого было достаточно. Я видел, как лицо Иосафа мгновенно вспыхнуло, и в ту же минуту раздался страшнейший удар пощечины, какой когда-либо я слыхивал, и мне кажется, что в этом беспощадном ударе у Иосафа выразилась не столько злоба к врагу, сколько ненависть и отвращение к гадкому человечешку. Аксанов перелетел через скамейку. Из рта и из носу его брызнула кровь. Заревев во все горло, он бросился жаловаться к инспектору, от которого и снизошло приказание: стать Ферапонтову на колени на целую неделю. Иосаф снес это наказание, ни разу не попытавшись ни оправдаться, ни попросить

прощения. А между тем учиться он начал решительно лучше всех нас: запинаясь, заикаясь и конфузясь, он обыкновенно начинал отвечать свои уроки и всегда их знал, так что к концу года за прилежание, а главное, я думаю, за возмужалый возраст, он и сделан был у нас в классе старшим. Как теперь помню я его неуклюже-добродушную фигуру, когда он становился у кафедры наблюдать за нашим поведением, повторяя изредка: «Пожалуйста, перестаньте, право, придут!» В черновую книгу он никогда никого не записывал, и только когда какой-нибудь шалун начинал очень уж беситься, он подходил к нему, самолично схватывал его за волосы, стягивал их так, что у того кровью наливались глаза, и молча сажал на свое место, потом снова становился у кафедры и погружался в ему только известные мысли.

С третьего класса нас вдруг начали учить маршировать и кричать в один голос: «Ура!» и «Здравие желаем!» Инспектору (особе, кажется бы, по происхождению своему из духовного звания) чрезвычайно это понравилось. Он мало того, что лично присутствовал на наших ученьях, но и сам пожелал упражняться в сих экзерсициях и нарочно пришел для этого в одну из перемен между классами.

– Погодите, дети, – сказал он, сделав нам лукавую мину, – я взойду к вам, аки бы генерал, и вы привет-

стуйте меня единогогласным ура!

Распорядясь таким образом, он ушел.

– Не вставать! Не откликаться ему! – раздалось со всех сторон.

Иосаф почесал только голову.

Между тем два сторожа торжественно отворили дверь, и инспектор в полном мундире, при шпаге, с треугольной шляпой и с глупо улыбающимся лицом вошел.

– Здравствуйте, дети! – произнес он добродушнейшим голосом.

Никто ни слова.

Инспектор позеленел.

– Говорят вам, здравствуйте, скоты этакие, – повторил он.

Новое молчание.

– А! Заговор! – мог только выговорить он и ушел.

«В третьем классе бунт, заговор!» – разнеслось страшным гулом по всей гимназии. «Завтра будет разборка», – слышалось затем, и действительно: на другой день нас позвали в залу с олимпийскими богами. Проходя переднюю, мы заметили всех трех сторожей в новых вицмундирах и с сильно нафабранными усами. Между ними виднелась и зловещая скамейка, а в углу лежало такое количество розог, что их доставало бы запороть насмерть целую роту. Сердца наши

невольню екнули. Когда мы вошли в залу, директор, инспектор и весь сонм учителей был уже в сборе. Су- ровое выражение лиц их не предвещало ничего доб- рого. Нас построили в три шеренги.

– Поступок ваш, – начал директор, насупливая свои густые брови и самым зловещим тоном, – выше вся- кой меры, всякого описания!.. Это не простая ша- лость, которую можно простить и наказать. Тут стач- ка!.. Заговор!.. Это действие против правительства... шаг против царя. Вы все пойдете под красную шапку. Не рассчитывайте на то, что вы дворяне и малолетки. Мы всех вас упечем в кантонисты!<sup>2</sup>

Произнося последние слова, он приостановился и несколько времени наблюдал эффект, который про- извел этой речью. Что это за действие против прави- тельства и почему это шаг против царя, мы решитель- но ничего не поняли, но сочли за нужное тоже иметь, с своей стороны, лица мрачные.

– И только святая обязанность, – продолжал дирек- тор, – которую мы, присягая крестом и евангелием, приняли на себя (при этих словах он указал на об- раз)... обязанность! – повторил он с ударением. – Ис- правлять вашу нравственность, а не губить вас, за-

---

<sup>2</sup> Кантонисты – в XIX веке дети, отданные на воспитание в военные казармы или военные поселения и обязанные служить в армии солда- тами.

ставляет нас предполагать, что большая часть из вас были вовлечены в это преступление неумышленно, а потому хотим только наказать зачинщиков. Извольте выдавать их.

Прошло несколько минут, но ответа на этот вызов не последовало.

– Господин Ферापонтов, выйдите на середину! – проговорил директор, как бы на что-то решившись.

Ферапонтов вышел.

– Вы, как старший класса, должны отвечать первый.

Иосаф сначала посмотрел ему в лицо, потом отвел глаза в угол на печку, потупил их и ни слова не отвечал.

– Я вас опрашиваю: кто зачинщики? – повторил директор.

– Я не знаю-с, – проговорил, наконец, Ферापонтов.

– А! Не знаете! Розог! – произнес директор, сколько только мог спокойным голосом.

Иосаф слегка побледнел; но молчал.

– Розог! – повторил директор уже более грозным голосом.

Учитель чистописания и рисования поспешил исполнить его приказание. Вошли сторожа с скамейкой и с лозами.

– Я вас спрашиваю в последний раз: кто зачинщики? Извольте или отвечать, или раздеваться.

Ферапонтов не делал ни того, ни другого.

– Раздеваться! – крикнул, наконец, директор, стукнув по столу.

– Нет-с, я не дамся сечь, – произнес вдруг Иосаф.

Мы все невольно вздрогнули. Директор откинулся на задок кресла. Инспектор сделал только жест удивления руками, а законоучитель возвел очи свои горе и вздохнул.

– Раздеть его! – произнес директор уже шипящим голосом.

Два сторожа подошли к Ферапонтову.

– Что ж, ваше благородие, разболокайтесь! – проговорил один из них и взял было его за борт сюртука. Но Иосаф в ту же минуту ударил его наотмах по морде, а другого толкнул в грудь, так что тот едва устоял на ногах, а сам, перескочив через скамейку, убежал. Двое остальных сторожей погнались за ним. Мы слышали их тяжелые и быстрые шаги по коридору.

Весь ученый комитет поднялся на ноги. Директор и инспектор несколько времени стояли друг против друга и ни слова не могли выговорить, до того их сердца преисполнились гнева и удивления. Учителя, которые были поумней, незаметно усмехались. Прошло по крайней мере четверть часа тяжелого и мрачного ожидания. Наконец, двое запыхавшихся сторожей возвратились и донесли, что Ферапонтов сначала пе-



рескочил через один забор, потом через другой, через третий и скрылся в переулке.

– А! Хорошо! – проговорил директор, снова совладев собой. – Хорошо! – повторил он, и затем началась разборка; стали сечь через четвертого пятого. Ахтуров указал на Вистулова и Пеклиса; Вистулов сказал, что зачинщиками были Кантырев и Жилов; Жилов оговорил Пеклиса; словом, все сподличали, и всех пересекли. Обильное количество розог было spolна употреблено в дело. Мы все разошлись по домам, кто прихрамывая, кто всхлипывая, и все с глубоко ожесточенными сердцами, а когда на другой день нас снова потянули в залу, мы дали друг другу смертельную клятву поступить так же, как и молодец Феррапонтов. Но нас ожидало совершенно иное зрелище. Директор, инспектор и учителя сидели по-прежнему на своих местах. По-прежнему в зале была скамейка и розги, а несколько в стороне три сторожа держали связанного по рукам и ногам Феррапонтова. Отец его, еще в более изорванном вицмундиришке, был тут же и беспрестанно кланялся директору.

– Я, батюшка-благодетель, только и прошу о том: накажите его, подлеца, хорошенько!.. Хорошенько его!..

– Вы будете видеть, как этот господин будет примерно наказан, – объяснил нам коротко директор и

сделал знак рукой сторожам.

Иосафу на этот раз не было никакой возможности сопротивляться. С ним мгновенно распорядились. Оказалось, что на нем белья даже порядочного не было: полинялая ситцевая реденькая рубашонка висела на нем хлопьями, и больше ничего. Наказание последовало действительно примерное. До сих пор я не могу забыть этого возмущающего душу зрелища. Бедного мальчугана привязали крепчайшими веревками за руки, за голову, за ноги к скамейке. Двое огромных сторожей начали его наказывать. Директор с вскоченными волосами и с расвирепевшим лицом встал на ноги.

– Говорят вам, назовите зачинщиков и просите прощения! – говорил он по временам задыхающимся от бешенства голосом, но, не получая ответа, махал рукой, и сторожа продолжали свое дело.

Отец Иосафа тоже повторял за ним: «Хорошенько его, хорошенько!» Иногда он подбегал к солдатам и, выхватив у них розги, сам начинал сечь сына жесточайшим образом. Все это продолжалось около получаса. Ручьи крови текли по полу. Иосаф от боли изгрыз целый угол скамейки, но не сказал ни одного слова и не произнес ни одного стона.

– Бросьте этого скота, – проговорил, наконец, директор.

Ферапонтов-старик бросился ему в ноги, умоляя его: «Батюшко, не погубите, отец мой, благодетель, не погубите навеки!» И когда директор пошел из залы, он пополз за ним на коленях.

Иосафа тоже на той же скамье куда-то унесли и нас распустили.

Три недели потом он не являлся. Мы слышали, что он больной лежит в пансионской больнице, и когда пришел, то был бледен и заметно похудел. О том, что с ним случилось, он почти ни с кем не проговорил ни слова, хоть и был решительно героем денька. Не говоря уж об нас, маленьких, начавших смотреть на него с каким-то благоговением, даже шестиклассники и семиклассники приходили и спрашивали: «Который у вас Ферапонтов?», и мы им показывали. Я дал себе решительное слово во что бы то ни стало сблизиться и подружиться с ним. Но как было это сделать? Единственным приятелем и другом Иосафа был и оставался тоже заречный житель, пятиклассный гимназист Мучеников. Малый этот, весьма тупой на учение, отличался тем, что постоянно ходил в широчайших шальварах, стригся в кружок и накалывал себе сзади шею булавкой для того, чтобы она распухла и казалась более толстою, и все это с единственной целью быть похожим на казака, а не на гимназиста. Каждую перемену между классами они сходились

и все время ходили по коридору, разговаривая между собой задушевнейшим образом. Я несколько раз пытался подслушать их беседу. Они толковали то о том, где лучшие места для грибов, то продавали или покупали что-то такое один у другого, и при этом всегда платили друг другу самыми мелкими монетами: денежками, полушками. Оказалось потом, что оба они были птицеловы.

– На конопляное семя лучше всего идет птица! – говорил Мучеников.

– Ну нет! Уж это сколько раз испытано было: овсяная крупа скусней для них всего! – возражал ему басом Иосаф.

– Чижу! – возражал, в свою очередь, Мучеников.

– Не чижу, а вообще всякой птице, – говорил настойчиво Иосаф. – У меня, слава богу!.. Я запасся теперь этим добром! – прибавлял он с удовольствием и вытаскивал из кармана целую пригоршню овсяной крупы, которую они с Мучениковым сейчас же разделяли и тут же ее съедали.

Однажды Иосаф как-то особенно таинственно был вызван своим приятелем из класса. Я потихоньку тоже вышел за ними. Сначала они походили по коридору, поговорили между собой о чем-то шепотом и прошли в физический кабинет. Там Мучеников сначала вытащил из своих широчайших штанов какой-то ящи-

чек с дырочками, осторожно открыл его, и из него выпрыгнула мышь на ниточке, потом вынул он оттуда что-то завернутое в бумажку – развернул – оказалось, что это был варганчик, на котором он и начал потихоньку наигрывать, а мышка встала на задние лапки и принялась как бы плясать. Ферапонтов смотрел на все это с пожирающим вниманием. Меня несколько удивило, что такие большие гимназисты и чем занимаются? Сам я, хотя и был гораздо моложе их, давно уже отстал от всяких детских игр и даже презирал ими...

Так дело шло до пятого класса. К этому времени у Иосафа сильно уже пророс подбородок бороною: середину он обыкновенно пробривал, оставляя на щеках довольно густые бакенбарды, единственные между всеми гимназистами. Раз мне случилось, наконец, идти с ним по одной дороге.

– Ферапонтов! Зайдите ко мне, – сказал я почти умоляющим голосом.

– Что? Нет-с! Зачем? – отвечал он.

– Мы покурим, потолкуем.

– Я не курю-с.

– Ничего, вы попробуете! Пожалуйста, зайдите.

– Пожалуй-с, – проговорил, наконец, Иосаф каким-то нерешительным тоном и зашел, но как-то чрезвычайно робко.

Встретившей нас нашей дворовой женщине Авдотье он поклонился самым почтительным образом, и когда мы вошли в мою комнату, он, кажется, не решался сесть.

– Садитесь, пожалуйста, Ферापонтов, – сказал я и начал старательно выдувать и закуривать для него трубку.

Иосаф два раза курнул и возвратил ее мне.

– Нет-с, горько, я не умею! – сказал он.

– Да вы вот как! – объяснил я ему и, ради поучения его, отчаянно затянулся.

– Я не умею-с, – повторил Иосаф.

Он, видимо, более всего в эту минуту был занят тем, чтобы спрятать под кресло свои дырявые и сильно загрязненные сапоги.

– Послушайте, – сказал я, небрежно разваливаясь на диване, – что вы дома делаете, когда из класса приходите?

– Да что? Уроки учу; ну и по дому тоже кое-что поделаешь.

– А читать вы любите? – спросил я, никак не предполагая, что Иосаф даже не поймет моего вопроса.

– Что читать-с? – спросил он меня самым невиннейшим тоном.

– Повести, романы, вот как этот, – сказал я, показывая на лежавший в то время у меня на столе «Фрегат

«Надежда»<sup>3</sup>, который я только что накануне проглотил с неистовою жадностью.

– Нет-с, я не читывал, – отвечал Ферапонтов.

В это время Авдотья подала нам чай. Иосаф вдруг стал отказываться.

– Отчего же вы не пьете? Пейте! – сказал я.

Ферапонтов, конфузясь, взял чашку, проворно выпил ее и, покрыв, возвратил, неловко раскланиваясь перед Авдотьей.

– Кушайте еще, – сказала та, улыбаясь.

Иосаф окончательно растерялся.

– Пейте, Ферапонтов. Налей! – проговорил я.

Иосаф и эту чашку так же поспешно выпил и, закрыв, возвратил, снова расшаркавшись перед Авдотьей.

– Знаете что, Ферапонтов, – сказал я, решившись ни за что не выпускать из рук нового приятеля, – давайте заниматься вместе по-латыни. Вы вот этак заходите ко мне после класса, и мы станем переводить.

– Хорошо-с, пожалуй, – отвечал, подумавши, Иосаф и взялся за фуражку.

Я предложил ему покурить. Он сделал это, кажется, более для моего удовольствия и ушел.

– Что это у вас какой барин-то был? – сказала мне

---

<sup>3</sup> «Фрегат «Надежда» – повесть А.Бестужева-Марлинского (1797—1837).

Авдотья после ухода его.

– Что же? – спросил я.

– Да и на барчика-то совсем не похож, словно лакейшка какой, – решила она.

– Напротив, это славный малый! – возразил я и не счел за нужное объяснять ей более.

Дня через два мы принялись с Ферапонтовым за латынь. Оказалось, что в этом деле он гораздо дальше меня ушел. Знания входили туго в его голову, но, раз уже попавши туда, никогда оттуда не выскакивали: все знакомые ему слова он помнил точнейшим образом, во всех их значениях; таблицы склонений, спряжений, все исключения были у него как на ладони.

Меня, впрочем, в Иосафе интересовал совсем другой предмет, о чем я и решился непременно поговорить с ним.

– А что, Ферапонтов, были вы когда-нибудь влюблены? – спросил я, воспользовавшись одним праздничным послеобедом, когда он пришел ко мне и по обыкновению сидел молча и задумавшись. Сам я был в это время ужасно влюблен в одну свою кузину и даже отрезал себе клочок волос, чтобы похвастаться им перед, Ферапонтовым и сказать, что это подарила мне она.

– Были вы влюблены? – повторил я, видя, что



Иосаф покраснел и молчал.

– Нет-с, я не знаю этого... не занимаюсь этим, – отвечал он каким-то недовольным тоном и потом сейчас же поспешил прибавить: – Давайте лучше заниматься-ся-с.

Мы принялись. Иосаф начал с невозмутимым вниманием скандовать стихи, потом разбивал их на предложения, отыскивал подлежащее, сказуемое. Перевод он писал аккуратнейшим почерком, раза два принимался для этого чинить перо, прописывал сполна каждое слово и ставил все грамматические знаки.

«Что это, – думал я, глядя на него, – какой умный малый и не понимает, что такое любовь!»

– Вы, Ферапонтов, конечно, в университет поступите? – спросил я его вслух.

– Нет, где же-с! Я состояния не имею.

– Да вам только доехать до Москвы, а там вас сейчас же примут на казну.

– Нет-с, невозможно это... Я несмелый такой! Где мне! – отвечал он и вздохнул.

Вскоре после этого времени с ним случилась по гимназии новая беда. Приятель его Мучеников, и с виду, как мы знаем, довольно суровый, имел при этом решительно какие-то кровожадные наклонности. Не проходило почти ни одной на площади казни, на которой бы он не присутствовал, и обыкновенно сто-

ял, молодецвато подбоченившись рукой, и с каким-то особенным удовольствием прислушивался, как стонал преступник. Во всех кулачных боях между фабричными он непременно участвовал и нередко возвращался оттуда с сильно помятыми боками, но всегда очень довольный. Любимой его прогулкой было ходить на городскую скотобойню и наблюдать там, как убивали скотину. Говорят даже, он иногда сам выпрашивал у мясников топор и собственными руками убивал огромнейших быков.

Не имея, вероятно, долгое время подобных развлечений, он придумал новую штуку: был в гимназии некто маленький и ужасно паршивый гимназистик Красноперов, который, чтобы как-нибудь отбиться от учения, вдруг вздумал притвориться немым: его и упрашивали и лечили; но он показывал только знаки руками, делал гримасы, как бы усиливаясь говорить, но не произносил ни одного звука. Мучеников все это намотал себе на ус и раз, когда они по обыкновению проходили по бульвару с Иосафом домой, впереди их шел именно этот самый гимназистик, очень печальная фигурка, в дырявой шинельке и с сумкой через плечо; но ничто это не тронуло Мученикова.

– Попробуем его! – сказал он вдруг Иосафу, сделав знак глазами.

– Ну нет, что! – отозвался было тот сначала.

– Право, попробуем... – проговорил Мучеников.

Иосаф отвечал на это одной уже только улыбкой, и Мучеников, понагнав Красноперова, стал его примагнивать.

– Поди-ка сюда, поди: я тебе пряничка дам! – говорил он, и когда тот, не совсем доверчиво, подошел, он схватил его за шивороток, повернул у себя на колене и, велев Иосафу нарвать тут же растущей крапивы, насовал ее бедному немому за пазуху, под рубашонку, в штанишки, в сапоги, а потом начал его щекотать. Тот закорчился, зашевелился, крапива принялась его жечь во всевозможных местах. Сначала он визжал только на целый бульвар, наконец не вытерпел, заговорил и забранился.

– А! Так ты, бестия, не немой... говоришь! – проговорил Мучеников и затем, дав своей жертве еще несколько шлепков в зад, отпустил.

Несчастный мальчик, забыв всякую немоту, прибежал к отцу и все рассказал. Тот поехал к директору. Мученикова сейчас же исключили из гимназии, а Иосаф спасся только тем, что был первым учеником. Его, однако, сменили из старших и записали на черную доску.

– Зачем вы это сделали? – спросил я его однажды. Ферапонтов покраснел.

– Так, черт знает зачем! – отвечал он и потом, по-

молчал, прибавил, щупая у себя голову: – У меня, впрочем, кажется, есть шишка жестокости. Я, пожалуй, способен убить и себя и кого другого.

Взглянув на его несколько сутуловатую и широкоплечую фигуру, я невольно подумал, что вряд ли он говорит это фразу.

В дальнейшем моем сближении с Ферাপонтовым он оставался тем же и, бывая у меня довольно уже часто, по-прежнему или коротко или ничего не отвечал на все мои расспросы, которыми я пробовал его со всех сторон, и только однажды, когда как-то случайно речь зашла о рыбной ловле, он вдруг разговорился.

– Ночь теперь если тихая... – начал он с заметным удовольствием, – вода не колыхнется, как зеркало... Смола на носу лодки горит... огромным таким кажется пламенем... Воду всю освещает до самого дна: как на тарелке все рассмотреть можно, каждый камышек... и рыба теперь попадется... спит... щука всегда против воды... ударишь ее острой... встрепенется... кровь из нее брызнет в воду – розовая такая...

– Вам бы, Ферাপонтов, на vacation куда-нибудь в деревню ехать, – перебил я его, решившись тоже придумать и наказать ему, как и я ловлю рыбу.

– Что деревня! Мы теперь с Мучениковым все равно – почесть что всю vacation дома не живем... Раз так на Афоньковской горе целую неделю с ним жили, –

прибавил он с улыбкой.

– Что ж вы делали там?

– Ничего не делали... известно... по ягоды ходим, молока себе потом купим, съедим их с ним. Виды там отличные; верст на шестьдесят кругом видно. Город здешний, как на ладони, да окромя того сел двадцать еще видно.

– А как вы птиц ловите? – спросил я.

– Птицы что!.. Тоже охоту на это надо иметь, – отвечал Иосаф уклончиво.

Я как-то перед тем имел неосторожность посмеяться над его птицеловством, и он постоянно по этому предмету отмалчивался.

Другой раз, это было, впрочем, в седьмом уже классе, Иосаф пришел ко мне, чего с ним прежде никогда не бывало, часу в одиннадцатом ночи. На лице его была написана тревога. С первых же почти слов он спросил меня робким голосом:

– А что, можно у вас ночевать?

– Сделайте одолжение. Но что такое с вами, Ферাপонтов? Вы какой-то расстроенный.

Иосаф сначала ничего было мне не отвечал, но я повторил свой вопрос.

– Да так!.. С отцом неудовольствие вышло... пришел пьяный... рассердился на меня да взял мои гусли и разбил топором... на мелкие куски изрубил... а у

меня только и забавы по зимам было.

– И что ж вы? Играли на них?

– Играл немного!..

– Кто ж вас учил?

– Кое-что сам дошел, а другое отец дьякон от Преображения поучил... Есть же, господи, такие на свете счастливые люди, – продолжал он с горькой улыбкой, – вон Пеклису отец и скрипку новую купил и учителя нанимает, а мой благоверный родитель только и выискивает, нельзя ли как-нибудь разобидеть... Лучше бы меня избил, как хотел, чем это сделал. Никакого терпенья недостает... бог с ним.

На глазах Иосафа навернулись слезы. Прежде он никогда на отца не жаловался и вообще ничего не говорил о нем. Я стал его утешать, говоря, что ему лучше на чем-нибудь другом выучиться, что нынче на гуслях никто уже не играет.

– Что ж мне делать, коли у меня ничего другого нет. И то спасибо, после покойного дедушки достались... Берег их как зеницу ока, а теперь что из них стало?.. Одни щепки!

Всю ночь лотом, как я прислушивался, Иосаф не опал и на другой день куда-то очень рано ушел: вряд ли не приискивать мастера, который бы взялся у него починить гусли.

«Вот чудак-то!» – подумал я, очень еще смутно в то

время понимая, что мой высокорослый друг, так уже сильно поросший бородою, был совершенный еще ребенок и в то же время чистейший идеалист.

### III

Спустя полгода после выпуска Ферапонтов, как я слышал, поступил в Демидовский лицей. Он пришел для этого в Ярославль пешком, и здесь его, на самых первых порах, выбрали в певчие – петь самую низкую октаву. Это очень заняло Иосафа. Боже мой, с каким нетерпением он обыкновенно поджидал подпраздничной всенощной! Встанет, бывало, на клирос, несколько в глубь его. Церковь между тем начинает наполняться народом. Впереди становятся дамы, хоть и разодетые и раздушенные, но старающиеся придать своим лицам кроткое и постное выражение. За ними следуют купцы с сильно намасленными головами и сзади их лакеи в ливреях или солдаты в своих сермягах. Выходит из алтаря дьякон со свечой и священник с кадилом. Оба они в дорадоровых ризах. Обоняние Иосафа начинает приятно щекотать запах ладана; с каким-то самоуслаждением он тянет свою ноту и в то же время прислушивается к двум мягким и складным тенорам.

Наступившая потом страстная неделя принесла ему еще большие наслаждения. Почти с восторгом он ходил на эти маленькие вечерни. Весеннее солнце, светившее с западной стороны в огромные и уже вы-



ставленные окна, обливало всю церковь ярким янтарным блеском, так что синеватые и едва колеблющиеся огоньки зажженных перед иконостасом свечей едва мерцали в нем. Говельщики стояли по большей части с потупленными головами: одни из них слегка и едва заметно крестились, а другие, напротив, делали огромные крестные знамена и потом вдруг, ни с того ни с сего начинали до поту лица кланяться в землю. Иосаф вместе с хором пел столь любезные ему песни Дамаскина. «Блюди убо, душе моя, да не сном отяготишися», или «Чертог твой вижду, спасе мой, украшенный» держал он крепко на своей октаве, ни разу не срываясь. Но вот в пятницу вынесли плащаницу. Хор запел: «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе». Иосаф, несколько прячась в воротник своей шинели, тоже басил, стараясь смигнуть наверхнувшиися на глазах слезы. Он чувствовал, что из груди его выходят хотя и низкие, но одушевленные звуки.

Помнил он также и Троицын день. Народу в церкви было яблоку упасть негде: все больше женщины, и все, кажется, такие хорошенькие, все в белых или светло-голубых и розовых платьях и все с букетами в руках благоухающей сирени – прекрасно!

За этими почти единственными, поэтическими для бедного студента, минутами следовала бурсацкая жизнь в казенных номерах, без семьи, без всякого

развлечения, кроме вечного долбления профессорских лекций, мрака и смерти преисполненных, так что Иосаф почти несомненно полагал, что все эти мелкие примеры из истории Греции и Рима, весь этот строгий разум математики, все эти толки в риториках об изящном – сами по себе, а жизнь с колотками в детстве от пьяных папенок, с бестолковой школой в юности и, наконец, с этой вечной бедностью, обрывающей малейший расцвет ваших юношеских надежд, – тоже сама по себе и что между этим нет, да и быть никогда не может, ничего общего.

В этом нравственном полуусыплении не суждено было, однако, Иосафу заглухнуть навсегда: на втором, кажется, курсе он как-то вечером вышел прогуляться к на одной из главных улиц встретил целую ватагу студентов. Впереди всех шел некто своекоштный студент Охоботов, присланный в училище на выучку от Войска Донского и остававшийся в оном лет уже около пяти, так что начальство его, наконец, спросило бумагой училищное начальство: как и что Охоботов и скоро ли, наконец, выучится? Его призвали в совет и спрашивали: что отвечать на это?

– Да пишите, что начинаю подавать надежды, – отвечал он очень спокойно.

Все рассмеялись, но так и написали. Охоботов же по-прежнему продолжал почитать и заниматься,

чем ему хотелось, а главное – пребывать в известном студенческом трактире «Бычок», где он с другими своими товарищами, тоже постоянно тут пребывавшими, играл на бильярде, спорил, рассуждал и вообще слыл между ними за очень умного и душевного малого.

В настоящем случае он шел что-то очень мрачный, скоро шагая и нахлобучив фуражку. Поравнявшись с Ферапонтовым, он остановил его.

– Пушкин ранен на дуэли и умер, – сказал он каким-то глухим голосом.

Иосаф молча посмотрел на него: он не без удивления заметил, что глаза у Охоботова были как бы воспалены от слез.

– Сейчас идем к Вознесенью служить панихиду по нем. Идем с нами! – проговорил Охоботов.

Иосаф механически повернул и все еще хорошенько не мог понять, что это значит. На улицах между тем царствовала совершенная тишина. Неторопливо и в каком-то молчании прошли все до самой церкви. Перед домом священника Охоботов взялся вызвать его и действительно через несколько минут вышел со священником, который только мотал от удивления головой.

– Ну уж вы, господа студенты, народец! – говорил он, отпирая огромным ключом огромную церковную дверь.

Вошли. Всех обдало мраком и сыростью. Засветили несколько свечек. Иосафу и другому еще студенту, второму басу после него, поручили исполнять обязанность дьячков. Священник надел черные ризы и начал литию. После возгласу его: «Упокой, господи, душу усопшего раба Александра», Ферапонтов и товарищ его громко, так что потряслись церковные своды, запели: «Вечная память, вечная память!» Прочие студенты тоже им подтягивали, и все почти навзрыд плакали.

– Ну, панихидка – не лицемерная... не фальшивая! – говорил священник, кончив службу и пожимая руку то у того, то у другого из студентов.

Выйдя из церкви, Охоботов распорядился, чтобы все шли в известный уж нам «Бычок». Иосаф тоже последовал туда. В заведении этом была даже отведена особая для студентов комната, в которую немногие уже из посторонней публики рисковали входить.

– Господи! – проговорил Охоботов, садясь на свое обычное место на диван и грустно склоняя голову. – Вчера еще только я читал с Машей его «Онегина»... точно он напороочил себе смерть в своем Ленском... Где теперь «и жажда знания и труда... и вы, заветные мечтанья, вы, призрак жизни неземной, вы, сны поэзии святой» – все кончено! Кусок мяса и глины остался только, и больше ничего!

– Это ужасно! – воскликнул молоденький студент, тоже садясь и ероша волосы.

– Да, скверниссимо, – подтвердил второй бас.

Иосаф на все происходившее смотрел выпуча глазами.

– Не скверниссимо, а подлиссимо! – воскликнул вдруг Охоботов. – Вот он! – прибавил он, ударив кулаком по лежавшему на столе номеру «Северной пчелы». – Этот паук, скорпион<sup>4</sup>, жаливший всю жизнь его, жив еще, когда он умер, и между нами нет ни одного честного Занда<sup>5</sup>, который бы пошел и придавил эту гадину.

– Это черт знает что такое! – опять повторил молоденький студент, застучав руками и ногами.

– Да расстреляйте ж, коли то... портрет его, собачьего сына, як робят то в Хранции с дурнями, який убег, – проговорил вдруг смиреннейший студент-хохол, все время до того молчавший.

Все посмотрели на него с недоумением.

– Он же тут висит! – объяснил он, показывая на одну из стен, на которой действительно между несколь-

---

<sup>4</sup> ...этот паук, скорпион... – имеется в виду издатель реакционной газеты «Северная пчела» Ф.В.Булгарин, преследовавший Пушкина в газетных статьях и писавший на него доносы в тайную полицию.

<sup>5</sup> Занд Карл – немецкий студент, убивший в 1819 году реакционного писателя и политического деятеля А.Коцебу, за что был казнен 20 мая 1820 года.

кими портретами писателей висел и портрет известного антагониста Пушкина.

Мысль эта всем очень понравилась.

– Отлично, бесподобно, – раздалось со всех сторон.

Охоботов, хоть и не совсем довольный этой полумерой, тоже согласился.

Молоденький студент взялся домой сбегать за ружьем. Пришли было половые и сам хозяин трактира и стали упрашивать господ: сделать милость, не бунить. Но им объявили, что за портрет им заплатят, а самих прогнали только что не в шею. Ружье было принесено. Оказалось, что это был огромный старинный карабин; последовал вопрос – кому стрелять?

Всем хотелось.

– Ферাপонтову, – распорядился Охоботов.

– Пожалуй-с! – отвечал тот с заметным удовольствием и, взяв ружье, неторопливо прицелился и выстрелил.

На месте лица очутилась пуля.

– Ура Ферапонтову! Bravo! – прокричала почти в один голос вся ватага. Иосаф продул ружье и поставил его к сторонке. Попадись, кажется, в эту минуту ему и сам оригинал, он и с тем бы точно так же спокойно распорядился. Домой он пришел в сильном раздумье: как человек умный, он хорошо понимал, что

подобного энтузиазма и такой неподдельной горести нельзя было внушить даром; но почему и за что все это? К стыду своему, Иосаф должен был признаться самому себе, что он ни одного почти стихотворения и не читывал, кроме тех, которые задавались ему в гимназии по риторике Кошанского. Он на другой же день потихоньку сходил к библиотекарю и выпросил у него все, какие были, сочинения Пушкина и принялся: читал он день... два, и, странное дело, как будто бы целый мир новых ощущений открылся в его душе, и больше всего ему понравились эти благородные и в высшей степени поэтические отношения поэта к женщине. Искусившись таким образом, Иосаф решительно уже стал не в состоянии зубрить лекции и беспрестанно канючил то у того, то у другого из своих товарищей дать ему что-нибудь почитать: будь то роман, или рукописная в стихах поэма, или книжка какого-нибудь разрозненного журнала. Долго и потом Иосаф вспоминал это время, как счастливейшее в своей жизни. Почти в лихорадке от нетерпения, он запасался обыкновенно от сторожа на целую ночь свечкой и, улегшись на своей койке, принимался читать. Сколько прелестных местностей воссоздалось в его воображении; перед ним проходили как бы живые, совершенно новые и незнакомые ему лица, но понятные по общечеловечности страстей людских. И только через

полгода такого как бы запыля читательского он отвлечен был несколько в другую сторону. К ним прислан был новый профессор, молодой, энергический. Он на первой же лекции горячо заговорил о равенстве людей, о Христе, ходившем по песчаным степям, среди нищей братии и блудниц; кроме того, стал приглашать к себе на дом студентов, читал с ними, толковал им разные свои задушевные убеждения. Главным и почти единственным оппонентом ему в этих беседах явился Охоботов, который, по свойству своей упрямой казацкой натуры идти всем и во всем напротив, вдруг вздумал отстаивать то положение, что «все на свете благо и истинно, что существует». Профессор страшно громил против этого. Топая ногами и стуча кулаками, он кричал, что подло и низко всякое ярмо, которое наденут на вас и которое беспрестанно трет вам шею, считать благом и истиною.

Желудки казенных студентов, кажется, первые изъявили на эту мысль свое полное согласие и подстрекнули своих владельцев объявить, наконец, протестацию эконому, начавшему их кормить только что не осиновыми дровами, поджаренными на воде. Ферাপонтов сначала было не принимал никакого участия в этом; но в решительную минуту, когда за одним из обедов начался заранее условленный шум и когда эконом начал было кричать: «Не будет вам другой го-



вядины. Едите и такую... Вот она, тут, на столе стоит... Что вы с ней сделаете?»

– А вот что! – вскричал вдруг Иосаф и, схватив со стола блюдо, швырнул его в окно, так что оно пролетело возле самого виска эконома, и затем по тому же направлению последовали ломти хлеба, солонки, тарелки и даже ножи. Эконом едва спасся бегством. Начальство было чрезвычайно оконфужено этим делом и потому ограничилось только тем, что студентов пожурило, эконома сместило, но зато на молодого профессора была послана такого рода бумажка и так сдобно приправленная, что ему сейчас же предложили выйти в отставку; но как бы то ни было толчок уж был дан: в голове Иосафа, как, вероятно, и у многих других его товарищей, перевернулось многое. Он уже ясно стал понимать, что свойство жизни во все не таково, чтобы она непременно должна быть гадка, а что, напротив, тут очень многое зависит от заведенного порядка. Кончивши курс таким образом, он очутился как бы на каком-то нравственном распутье: в нем было множество возбуждено прекрасных инстинктов, но и только! Протестант почти против всего, но во имя какого знамени, и сам того хорошенько не знал. Вольнодумец в отношении религии на словах, он в то же время перед каждым экзаменом бежал к местной чудотворной иконе в собор и молился

там усерднейшим образом. Ненавидя до глубины души всякий начальствующий авторитет, я не знаю, вряд ли бы и сам удержался, если бы только случай выпал, обнаружить грубейший произвол. Знал он, пожалуй, и многое, но все как-то отрывочно, случайно и непригодно ни для какого практического дела, а между тем угрожающее ему впереди житейское положение было почти отчаянное. Он едва-едва успел уговорить одного лодочника свезти его в родной город, с прокормом за последние находившиеся у него в кармане три целковых, и то потому только так дешево, что он взялся вместе с тремя другими мужиками грести вместо бурлаков на судне, а в случае надобности, при противном ветре, тянуть даже бечевую. Когда причалили к пристани и Иосаф вступил на родную землю, трое мужиков с хозяином лодки весело пошли в харчевню выпить и пообедать, а он и этого сделать не мог: у него не было ни копейки. Взойдя со своей скудной сумочкой и понуренной головою на городскую гору, он даже всплакал. К кому было обратиться? Где приклонить голову? Отец его, давно уже пропивший свой последний домишко, умер нищим на церковной паперти; из знакомых своих Иосаф только и припомнил одного зарецкого дьякона, который некогда так великодушно поучил его играть на гусях. Он поплелся к нему, робко постучался в запертую калитку, и терзаемый глу-

бочайшим стыдом, только что не Христа ради, попросился у него ночевать.

– Сделайте милость, войдите, – отвечал отец дьякон.

Впрочем, тут же сейчас ему посоветовал на другой день идти к начальнику губернии и объяснить ему все.

– Славный человек, славный и к духовенству предрасположительный; отличнейший генерал, – говорил он.

Иосаф только вздохнул. Он еще в училище насмотрелся и наслышался, каковы эти отличнейшие генералы. Впрочем, на той же неделе, как только его физиономия, загрубелая и загорелая во время речного пути, приняла несколько более благообразный вид, он пошел к губернатору. Часа три по крайней мере ожидал он в приемной. Наконец, генерал вышел. Он очень любезно пожал руку инженерному поручику, так уже прекрасно успевшему обеспечить себя на дорожной дистанции, сказал даже довольно благосклонно «хорошо, хорошо» на какой-то молебный вопль исправнику, только что перед тем преданному за мздоимство суду. Но, заметив Ферапонтова, он вдруг насупился, не удостоил даже обратить к нему всего своего лица, а повернул только несколько правое ухо. Губернатор какое-то органическое отвращение чувствовал к студенческим мундирам.

Иосаф изложил ему свою просьбу.

Генерал попятился назад.

– Какое же я могу вам место дать? Какое? Какое? – повторял он все более и более строгим голосом.

– Я, ваше превосходительство, почти куска хлеба не имею! – вздумал было Иосаф тронуть его сердце.

– А я виноват в том? Я виноват? Я? – повторял губернатор, как бы чувствуя какое-то особенное наслаждение делать подобные вопросы.

Иосаф молчал.

– Я, ваше превосходительство, медаль получил! – проговорил он, наконец, и сам хорошенько не зная зачем.

Лицо генерала мгновенно приняло несколько более благоприятное выражение. Он вообще высоко ценил в людях всякого рода награды от начальства.

– Медаль? – спросил он.

– Да-с, – отвечал Иосаф.

– Покажите мне ее.

– Ее нет со мной-с, – отвечал Иосаф, несколько удивленный подобным желанием.

– Подите и принесите мне ее сейчас же! – решил губернатор и ушел.

«Черт знает что такое!» – подумал невольно Иосаф и, сходя за медалью, снова возвратился в приемную.

Там уже никого не было. Его допустили в кабинет к

губернатору. Он подал ему медаль. Начальник губернии несколько времени весьма внимательно рассматривал ее, взвешивал ее на руке и даже зачем-то понюхал.

– Подайте просьбу в Приказ, там есть вакансия писца, и вас зачислят... Надеюсь, что вы не обманете моего доверия, – проговорил он и сделал Иосафу знак головою, чтобы он удалился.

«Что ж это он мне за особенное доверие оказывает?» – рассуждал Иосаф, идя домой, и, когда на другой день он пришел в Приказ, десятки любопытных глаз сейчас же устремились на него.

Мороз невольюно пробежал по всему телу Ферапонтова. Человека три – четыре из стареньких чиновников показались ему как две капли похожими на его покойного отца.

Между тем приехал неременный член, очень добродушный старик, но перед тем только пришибленный параличом. Он что-то такое больше промышал, чем сказал бухгалтеру, тоже старику, рябому, толстому и, должно быть, крутейшему человеку. Тот ткнул Иосафу пальцем на пустой стул, проговорив: «Садитесь вот тут». Иосаф смиренно сел. Сначала сочинил он просьбу о своем определении, потом переписал поданную ему тем же бухгалтером бумагу, потом еще и еще, так что к концу присутствия почти совершенно

примкнул к канцелярской машине.

## IV

Не знаю, известно ли читателю, что по разного рода канцеляриям, начиная от неблагообразных камор земских судов до паркетных апартаментов министерств, в этих плешивых, завитых и гладко стриженных головах, так прилежно наклоненных над черными и красными столами, зачахло и погребено романтизму и всякого рода иных возвышенных стремлений никак не менее, чем и в воинственных строях, так ярко блистающих на Марсовом поле. Как и что происходит там с этими нежными растениями нашей души, я не знаю, но канцелярский воздух, положительно можно сказать, неблагоприятен для них. Из сотни товарищей Иосафа, некогда благородных и умных малых, садившихся до и после его на подобный ему стул, очень немногие прошли благополучно этот житейский искус: скольких из них мы видали от непрерывно раздражаемой печени и от надсаженной груди пустою, бесполезной работой умирающими в своих скудных квартирах или даже, по бедности, в городских больницах. Другие являли из себя еще более печальный пример: ради утехи душевной, они, прямо же из присутствия, обыкновенно проходили в какое-нибудь в кредит верящее трактирное заведение, а оттуда уже ночью по

заборам, а иногда и на четвереньках переправлялись домой или попадали в часть. Так дело шло до окончательного выгона из службы, за которым следовали: кабак, нищета и смерть где-нибудь на тротуаре или пропажа без вести! Наконец, третьи, и вряд ли не большая из них часть, благоразумно подлели: в какой-нибудь год отращивали себе брюшко, женились на дочерях каких-нибудь совсем уже отпетых экзекуторов и надсмотрщиков гражданских палат, и сами потом делались такими же скрозьземельными, как говорит народ, плутами. Иные из них уезжали даже в Петербург дослуживать там до довольно видных мест; но печать позорного опошления все-таки горела на их челе.

Иосафу был сужден несколько иной, более оригинальный, выход. Чтобы лучше познакомиться с его душевным состоянием, я считаю здесь нелишним привести два, три отрывка из его записок, которые он вел для себя, как бы вроде дневника. Вот что писал он вскоре после вступления своего на службу:

«Едва вышед из стен училища, я сразу должен был окунуться в житейскую болотину. К чему послужило нам наше образование? Не похоже ли это на то, как если бы в какой-нибудь для грубого солдатского сукна устроенной фабрике завели розовый питомник. Вот розы поспели, их срезали и свалили в один угол с



грубыми суконными свитками; завянут они там, и не истребить им своим благоуханием запаху сермяги. Я пребываю в отчаянии, в каком и вы, мои друзья и товарищи, вероятно, все теперь находитесь».

Но как бы то ни было Иосаф, затая все на душе, кинулся на труд: с каким-то тупым, нечеловеческим терпением он стал целые дни писать доклады, переписывать исходящие, подшивать и нумеровать дела и даже, говорят, чтобы держать все в порядке, мел иногда в неприсутственное время комнаты. Долгое время старик бухгалтер как будто бы ничего этого не замечал; наконец, умилился сердцем и однажды на вопрос неперменного члена: «Что, каков новобранец-то?» – отвечал: «Воротит как лошадь, малый отличнейший».

С течением времени он стал даже как будто бы заигрывать с Иосафом на словах.

– Жарконько сегодня, отче Иосафий, – говорил он, дав ему первый это прозвище, но решительно в виде ласки и с тем, чтобы определить им солидный характер своего любимца.

– Да, жарко, – отвечал Иосаф, стаскивая с полки огромную связку дел.

Бухгалтер смотрел ему в спину с какой-то нежной улыбкой, и как ни мгновенна она была на суровом лице его, но в ней одной в мире начало было созреть благосостояние Иосафа. Дело началось с того,

что старик после летнего Николина дня, храмового в их приходе праздника, как-то попрошибся и очень уж сильно перепил с своим другом и товарищем, архиерейским певчим, так что заболел после того на целые полгода. Исполнение его должности, по личному его настоянию, было поручено Иосафу и потом, когда старый служака чувствовал окончательное приближение смерти, то нарочно позвал к себе своего начальника, неперменного члена, и с клятвой наказывал ему не делать никого бухгалтером, кроме Ферапонтова. Желание это было исполнено. Такое быстрое повышение сильно было расшевелило Иосафа на первых порах. Он сшил себе все с иголочки новое платье и начал даже подумывать о женитьбе. Здесь мне приходится объяснить довольно щекотливое обстоятельство касательно того, что герой мой, несмотря на свое могучее тело и слишком тридцатилетний возраст, находился в самых скромных и отдаленных отношениях ко всему женскому полу. Как и отчего это произошло: обстоятельства ли жизни, или некоторая идеальность мирозерцания и прирожденные чувства целомудрия и стыдливости были тому причиной, но только, не говоря уже о гимназии, но и в училище, живя в сотовариществе таких повес, как студенты, Иосаф никогда не участвовал в их разных любовных похождениях и даже избегал разговора с ними об этом; а потом, со-

стоя уже столько времени на службе, он только раз во все это время, пришедши домой несколько подгулявши, вдруг толкнул свою кухарку, очень еще не старую крестьянскую бабу, на диван. Та посмотрела на него с удивлением.

– О, полноте-ка, полноте! Туда же! – проговорила она, и Иосаф до того сконфузился, что сейчас же надел шляпу и ушел из дому и до глубокой ночи не возвращался.

Предаваясь мысли о браке, он, между прочим, так рассуждал об этом предмете:

«И сегодня видел еще свадьбу... – писал он в одном месте своего дневника. – Счастливыцы! Но для меня нет и никогда не будет возможно это счастье. Девица, какую я представляю себе в моих мыслях, за меня не пойдет. Невесты же, приличные для меня, из нашего подлого приказного звания, противны душе моей: они не домовиты и не трудолюбивы, потому что считают себя барышнями, и сколько ни стараются наряжаться, но и этого к лицу сделать не умеют, будучи глубоко необразованны. Много раз я прислушивался к их разговору и убедился, что они ни о чем с мужчинами не могут говорить, кроме неблагопристойностей, ибо имеют уже развращенное воображение. О мать-природа! Ты мне единая утеха и услада!»

Так проходили дни за днями: каждое утро Иосаф

ходил на службу, приходил затем домой, обедал, спал немного, потом опять на службу и опять домой. Все поползновения повысить уровня обыденной жизни в нем как бы придавились под этим вечно движущимся канцелярским жерновом, и из него уже начал мало-помалу выковываться старый холостяк-чиновник: хладносердый (по крайней мере по наружности) ко всему божьему миру, он ни с кем почти не был знаком и ни к кому никогда не ходил; целые вечера, целые дни он просиживал в своей неприглядной серенькой квартирке один-одинехонек, все о чем-то думая и как будто бы чего-то ожидая. Самым живым и почти единственным его развлечением было то, что отправится иногда летним временем поудить рыбу, оттуда пройдет куда-нибудь далеко-далеко в поле, полежит там на мураве, пройдетя по сенокосным лугам, нарвет цветов, полюбуется ими или заберется в рожь и с наслаждением повдыхает в себя запах поспевающего хлеба; но с наступлением осени и то прекращалось. В бесконечно длинные зимние вечера напрасно Иосаф изобретал раза по два в неделю ходить в баню и пробывал там часа по три, напрасно принимался иногда пить чай чашек по пятнадцати, – время проходило медленно. Наскучавшись таким образом почти до сумасшествия, он, наконец, не вытерпивал и на другой день, придав своему лицу вместо сурово-

го несколько просительское выражение, спускался из Приказа вниз, в губернское правление, к экзекутору.

– А что, члены прочитали «Отечественные записки»? – спрашивал он.

– Свободны кой-какие, – отвечал тот.

– Снабдите меня, коли можно, – говорил Иосаф, как-то странно улыбаясь.

– Можно, можно, – отвечал экзекутор и вытаскивал ему из шкафа две, три книги.

Иосаф на этот раз шел из присутствия домой несколько проворнее. Пообедав наскоро, он сейчас же принимался за чтение, и если тут что-нибудь приходилось ему по душе, сильно углублялся в это занятие и потом вдруг иногда вставал, начинал взволнованными шагами ходить по комнате, ерошил себе волосы, размахивал руками и даже что-то такое декламировал и затем садился за свои гусли и начинал наигрывать и подпевать самым жалобным басом известную чувствительную песню: «Среди долины ровная»<sup>6</sup>. На том месте, где говорится, что высокий дуб растет:

Один, один, бедняжечка, на гладкой высоте,  
Ни сосенки, ни елочки, ни травки близ него, –

---

<sup>6</sup> Среди долины ровная... – первая строка песни на слова А.Ф.Мерзлякова (1778—1830).

у Иосафа по щекам текли уже слезы; но тем все и кончалось. На другой день он просыпался по-прежнему суровый и с окаменело-неподвижным лицом шел в Приказ.

## V

Был прелестнейший июньский день. Город, с своими ярко освещенными желтыми, белыми и серенькими домами, с своими блистающими серебряными и золотыми главами церквей, представлял собою решительно какой-то праздничный вид. Воздух напоен был запахом цветущих в это время лип; по временам чирикали какие-то птички, и раздавался резкий звук проезжающих по мостовой дрожек. В одних только присутственных местах было как-то еще душней и грязней. Иосаф сидел по обыкновению перед своей конторкой и посматривал на видневшийся в окно клочок неба. В Приказ вошел чрезвычайно франтоватый молодой мужчина, перетянутый, как оса, с английским пробором на голове, с усиками, с эспаньолкой, в шитой кружевной рубашке, в черном фраке, с маленькою красною кокардою в петличке и в светлейших лаковых сапогах. Он несколько по-военному сначала отнесся к одному из писцов и потом подошел к Иосафу.

– Я, кажется, имею удовольствие видеть господина Ферাপонтова? – проговорил он.

– Да-с, – отвечал тот своим обычным медвежьим тоном.

– Позвольте и мне с своей стороны иметь честь

представиться: ковенский помещик Бжестовский!.. – произнес новоприбывший, расшаркиваясь и протягивая Иосафу свою чрезвычайно красивую руку, на мизинце которой нельзя было не заметить маленького и, должно быть, женского сердоликового перстенька.

Иосаф на это полупривстал ему и, подав неуклюже и не совсем охотно тоже свою руку, снова сейчас же сел.

– У вас есть дело... сестры моей... Фамилия ее по мужу Костырева, – продолжал Бжестовский.

Иосаф стал было припоминать.

– Имение ее назначено в продажу, – помог тот ему. Иосаф почесал в голове.

– Да, назначено-с, – отвечал он неторопливо.

– Позвольте мне объясниться с вами в нескольких словах по этому делу, – произнес Бжестовский, и в голосе его уже заметно послышался заискивающий тон.

Иосаф молчаливым наклоном головы изъявил согласие.

– Эта женщина решительно несчастная!.. – продолжал проситель, пожимая плечами. – Можете себе вообразить: прелестная собой, из прекрасного образованного семейства, она выходит замуж за этого господина Костырева, и с сожалением еще надобно сказать, улана русской службы... пьяницу... мота... злнца.



Бухгалтер слушал, не совсем, кажется, хорошо понимая, зачем все это ему говорят.

– Потом-с, – снова продолжал Бжестовский, – приезжают они сюда. Начинает он пить – день... неделю... месяц... год. Наконец, умирает, – и вдруг она узнает, что доставшееся ей после именице, и именице действительно очень хорошее, которое она, можно сказать, кровью своей купила, идет с молотка до последней нитки в продажу. Должно ли, спрашиваю я вас, правительство хоть сколько-нибудь вникнуть в ее ужасное положение?.. Должно или нет?

Иосаф несколько затруднялся отвечать на подобный вопрос.

– Что же тут правительству за дело? – проговорил было он.

– Как что? – перебил его, уже вспыхнув в лице, Бжестовский. – Законы, кажется, пишутся для благосостояния граждан, а не для стеснения их.

Иосаф в ответ на это уставил глаза в книгу. Бжестовский поспешил переменить тон.

– Я и сестра моя, – начал он, – так много наслышаны о доброте вашей и о благородстве вашей души, что решились прямо обратиться к вам и просить вашего совета.

– Что же я тут?.. Надо или деньги внести, или продадут.

– Очень многое, Иосаф Иосафыч, очень многое, – произнес Бжестовский, прижимая руку к сердцу, – в имении есть мельница... лес... несколько отхожих сенокосных пустошей, которые могли бы быть проданы в частные руки.

Ферапонтов задумался.

– И что же, это отдельные статьи от имения? – спросил он.

– Совершенно, кажется, отдельные, – отвечал Бжестовский, – и потому я только о том и прошу вас, чтоб посетить нас. Я наперед уверен, что когда вы рассмотрите наше дело, то увидите, что мы правы и чисты, как солнце.

Иосаф продолжал думать: он хаживал иногда к помещикам для совета по их делам и даже любил это как бы все-таки несколько адвокатское занятие.

– Сделайте милость, – повторял между тем Бжестовский, – и уж, конечно, мы благодарить будем, как это делается между порядочными и благородными людьми.

Иосаф посмотрел ему в лицо.

– Хорошо-с, пожалуй! Ужо вечерком зайду, – проговорил он неторопливо.

Бжестовский рассыпался перед ним в выражениях полнейшей благодарности.

– Мы живем на набережной, в доме Дурындиных, –

заклучил он и, еще раз раскланявшись перед Иосафом, молодцевато вышел из Приказа.

## VI

Большой каменный дом Дурындиных был купеческий. Как большая часть из них, он, и сам-то неизвестно для чего выстроенный, имел сверх того еще в своем бельэтаже (тоже богу ведомо для каких употреблений) несколько гостиных – полинялых, запыленных, с тяжеловатую красного дерева мебелью, имел огромное зало с паркетным, во многих местах треснувшим полом, с лепным и частью уже обвалившимся карнизом, с мраморными столами на золотых ножках, с зеркалами в старинных бронзовых рамах, тянущимися почти во всю длину простенков. Введенный именно в эту залу казачком-лакеем, Иосаф несколько сконфузился, тем более, когда послышался шелест женского платья и из гостиной вышла молодая и очень стройная дама.

– Брат сейчас будет... извините, пожалуйста! – проговорила она, прямо подходя к нему и подавая ему руку.

Иосаф окончательно растерялся: в первый еще раз в жизни он почувствовал в своей жесткой руке женскую ручку и такую, кажется, хорошенькую! Подшаркнувши ногой, как только можно неловко, он проговорил:

– Помилуйте-с, ничего!

– Пойдемте, однако, в боскетную, – сказала Костырева и пошла.

Иосаф последовал за нею. Комната, в которую они пошли, действительно была с самого потолка до полу расписана яркою зеленью, посреди которой летело несколько птиц и гуляло несколько зверей. Хозяйка села у маленького стола на угловом, очень уютном диванчике и пригласила сделать то же самое и Иосафа, и даже очень невдалеке от нее. Исполнив это, Феррапонтов, наконец, осмелился поднять глаза и увидел перед собой решительно какую-то ангелоподобную блондинку: белокурые волосы ее, несколько зачесанные назад, спускались из-за ушей двумя толстыми локонами на правильнейшим образом очерченную шейку. Нежный цвет лица... полуприподнятые мечтательно кверху голубые глаза... эти, наконец, ямочки на щеках... этот носик и розовые, толстоватые, как бы манящие вас на поцелуй губки, – все это имело какое-то чрезвычайно милое и осмысленное выражение. Одежда она была в кисейную блузу, довольно низко застегнутую на груди и перехваченную на стройном стане поясом. Широкие, разрезные рукава почти обнажали как бы выточенные из слоновой кости ее длинные руки; а из-под опустившейся бесконечными складками юбки заметно обрисовывалось круглое коленочко, и

какое, должно быть, коленочко! Так что Иосаф и сам не понимал, что такое с ним происходило.

– Брат говорил вам о моем деле? – начала хозяйка.

– Да-с, – отвечал Иосаф, – две тысячи семьсот рублей на именье недоимки, – прибавил он.

– Как много! Но скажите: там у меня есть мельница и огромная лесная дача. Я сейчас бы готова была с удовольствием продать их и заплатила бы этим.

– Они у вас значатся в описи?

– Не знаю. Я ничего не понимаю в этих делах.

– Но ведь опись у вас есть? – спросил Иосаф заметно уже участвующим тоном.

– Право, и того не знаю. Есть какие-то бумаги, – отвечала Костырева и торопливо, с беспокойством вынула из своего рабочего столика несколько исписанных листов.

Иосаф чуть было не задрожал, когда она, подавая ему их, слегка прикоснулась своим пальчиком до его руки.

Это была в самом деле опись именью. Феррапонтов начал внимательно просматривать ее.

– Мельница на реке Шексне? – спросил он.

– Да, – отвечала Костырева.

– Лесная дача называется «Матренкины Долы»?

– Да, – повторила Костырева.

– Они значатся в описи-с, – проговорил Иосаф

грустным голосом.

– Что ж, нам не разрешат продажи? – спросила Костырева с таким испугом на лице, как будто бы сейчас же решила ее участь.

Иосаф чувствовал только, что от жалости у него вся кровь бросилась в голову.

– Вряд ли-с! – произнес он и постарался насильно улыбнуться, чтобы хоть этим смягчить свой ответ.

Прекрасные глаза хозяйки наполнились слезами.

– Как же мне, несчастной, быть? – произнесла она и, окончательно заплакав, закрыла лицо руками.

У Иосафа сердце готово было разорваться на части. Он тупо и как-то бессмысленно смотрел на нее, но в зале раздались мужские шаги. Костырева торопливо вынула из своего кармана тонкий, с вышитыми концами, батистовый платок и поспешно обтерла им свои глазки. Иосаф при этом почувствовал прелестный запах каких-то духов.

– Это брат приехал, он не любит, когда я плачу, – проговорила она; и в боскетную в самом деле вошел Бжестовский, который показался на этот раз Иосафу как-то еще франтоватей и красивее.

– Добрый день, – проговорил он, дружески подавая Иосафу руку, и потом протянул ее сестре.

Та ударила по ней своей ручкой. Бжестовский поцеловал ее у ней, и при этом она с такою нежностью при-

жала к его лбу свои губки, что у Иосафа поджилки задрожали. «Что, если б этот поцелуй достался ему», – безумно подумал он.

Бжестовский между тем небрежно расселся в креслах и вытянул свои, в тех же щегольских, лаковых сапогах ноги.

– Что, пане добродзею<sup>7</sup>, будьте такой добрый, скажите, придумали ли вы что-нибудь?

Иосаф несколько приподнял свою наклоненную голову.

– Покупщика вы на мельницу и на лес верного имеете? – спросил он.

– Очень верного... сосед наш по имению... прекраснейший человек... отличный семьянин... – отвечал Бжестовский.

Иосаф начал соображать.

– Извольте-с, – начал он, разведя руками, – я изготовлю вам прошение в таком роде, что вот вы представляете деньги по оценке, значащейся в описи этим предметам, просите разрешить продажу их, а вместе с тем приостановить и самый аукцион.

– Так... так... – повторял за ним Бжестовский, – но вы говорите: деньги представляя... Для нас это решительно невозможно, потому что, откровенно сказать, мы теперь совершенно без копейки.

---

<sup>7</sup> пане добродзею, – милостивец, благодетель (польск.).



– Да что тут? Деньги пустые: всего каких-нибудь по оценке за мельницу пятьсот рублей да за пустошь двести... Такие найти можно-с... я приищу вам... – говорил Иосаф, сам, кажется, не помнивший, что делает, и имевший в этом случае в виду свой маленький капиталец, нажитой и сбереженный им в пятнадцать лет на случай тяжелой болезни или выгона из службы.

Бжестовский встал перед ним с удивлением на ноги.

– Я слов даже не нахожу выразить вам мою благодарность, – проговорил он.

Иосаф тоже поднялся и неуклюже раскланивался.

– О благородный человек! – произнесла Костырева, протягивая ему руку, и, когда он подал ей свою лапу, она крепко, крепко сжала ее.

У Иосафа начинало уж зеленеть в глазах. В это время вошел лакей-казачок, в белых нитяных перчатках, и доложил, что чай готов.

– Пойдемте! – сказала хозяйка и, проходя мимо Иосафа, легонько задела его за коленку своим платьем. В зале, на круглом среднем столе, стоял светло вычищенный самовар и прочий чайный прибор, тоже чрезвычайно чистый. Костырева принялась хозяйничать: сначала она залила чай в серебряный чайник, накрыла его белой салфеточкой и сверх того еще положила на него свою чудную ручку. Иосаф и Бжестов-

ский уселись на другом конце стола. Герою моему никогда еще не случилось видеть, чтобы в присутствии его молодая, прекрасная собой женщина разливала чай, и – боже мой! – как понравилась ему вся эта картина.

– Не хотите ли вы сливок или рому? – проговорила хозяйка и сама, проворно встав, подошла к Иосафу и, немного наклонившись, стала подливать ему из маленького графинчика в стакан.

При этом грудь ее была почти перед самым лицом его; он видел, как она слегка колыхалась, и даже чувствовал, что его опахивала какая-то обаятельная теплота. Что с ним было в эти минуты, и сказать того невозможно.

После чаю Бжестовский предложил сестре:

– Не лучше ли, душа моя, нам идти посидеть на балконе?

– Хорошо, – отвечала она и очень милым движением пригласила и Иосафа, проговоря: – Угодно вам?

Тот пошел. Сначала его провели через длинную гостиную, в которой он успел только заметить люстру в чехле да огромную изразцовую печь, на которой вылеплена была Церера, с серпом и с каким-то необыкновенно толстым и вниз опустившимся животом. Следующая комната, вероятно, служила уборной хозяйки, потому что на столике стояло в сереб-

ряной рамке кокетливое женское зеркало, с опущенными на него кисейными занавесками; а на другой стороне, что невольно бросилось Иосафу в глаза, он увидел за ситцевой перегородкой зачем-то двуспальную кровать и даже с двумя изголовьями. Об этом он, впрочем, сейчас же забыл, как вышли на балкон. Вечерний воздух начинал уже свежеть. Не спавшая еще с воды река подходила почти к самому дому, так что балкон как будто бы висел над нею. Неустанно и торопливо катила она свои сероватые и небольшие волны. Против самого почти города теперь проходил целый караван барок, которые, с надувшимися парусами, как гигантские бело грудые лебеди, тихо двигались одна за другой. Вдали виделся, как бы на островку, монастырь. Освещенный сзади солнцем, он, со своей толстой стеной, с видневшимися из-за нее деревьями, с своими церквями и колокольнями, весь отражался несколько изломанными линиями в рябоватой зыби.

– Какой прекрасный вид! – решился Иосаф уже прямо отнестись к Костыревой.

– Да, чудный: я не налюбуюсь им, – отвечала она и вслед за тем устремила рассеянный взгляд на реку, но потом вдруг побледнела, проворно встала и едва успела опереться на косяк.

Иосаф тоже вскочил.

– Что с вами-с? – проговорил он с не меньшим ее испугом.

– Ничего... Я засмотрелась вниз на воду, и у меня закружилась голова, – отвечала она, все еще бледная, но уже с милой улыбкой.

– В таком случае лучше уйти отсюда, – сказал Бжестовский.

– Да, – согласилась Костырева.

Все возвратились в залу.

«Боже мой, какое это нежное и деликатное создание!» – думал про себя Иосаф и, чтобы скрыть волновавшие его ощущения, заговорил опять о деле.

– Теперь надо просьбу написать-с, – сказал он.

– Будьте такой добрый, – подхватил Бжестовский и, проворно сходяв, принес чернильницу и бумагу.

Иосаф написал прошение прямо набело.

– Подписать вам надобно-с, – отнесся он уже с улыбкой к Костыревой.

– Ах, сейчас, – отвечала она и осторожно взяла в свою беленькую ручку загрязненное перо.

Иосаф стал у ней за плечами. Он видел при этом ее чудную сзади шейку, ее толстую косу, едва уложенную в три кольца, и, наконец, часть ее груди, гораздо более уже открывшейся, чем это было, когда она наклонялась перед ним за чаем.

– К сему прошению... – диктовал он смущенным го-

лосом, – имя ваше-с и отчество?

– Эмилия Никтополионовна.

– Эмилия Никтополионовна Костырева руку приложила-с, – додиковал Иосаф.

Эмилия написала все это тоненьким, мелким и не совсем грамотным почерком.

– Merci, monsieur Ферापонтов, merci, – повторила она несколько раз и, взяв его за обе руки, долго-долго пожимала их.

Иосаф не выдержал и поцеловал у ней ручку, и при этом – о счастье! – он почувствовал, что и она его чмокнула своими божественными губками в его заметно уже начинавшую образовываться плешь. Растерявшись донельзя, он сейчас же начал раскланиваться. Бжестовский пошел провожать его до передней и сам даже подал ему шинель. Эмилия, когда Иосаф вышел на двор, нарочно подошла к отворенному окну.

– До свидания, monsieur Ферापонтов, – говорила она, приветливо кивая ему головою, и Иосаф несколько раз снимал свою шляпу, поводил ее в воздухе, но сказать ничего не нашелся и скрылся за калитку.

## VII

Проснувшись на другой день поутру, Иосаф с какой-то суетливостью собрал все свои деньжонки, положил их в прошение Костыревой и, придя в Приказ, до приезда еще присутствующих, сам незаконно пометил его, сдал сейчас же в стол, сам написал по нем доклад, в котором, прямо определяя – продажу Костыревой разрешить и аукцион на ее имение приостановить, подсунул было это вместе с прочими докладами члену для подписи, а сам, заметно взволнованный, все время оставался в присутствии и не уходил отсюда. Старик, начальник Приказа, лет уже семнадцать тому назад, как мы знаем, пришибенный параличом, был не совсем тверд в языке и памяти, но на этот раз, однако, как-то вдруг прозрел.

– Асаф Асафыч, это что такое? – спросил он, остановись именно на интересном для Иосафа докладе. Ферапонтов побледнел.

– Прошение Костыревой... деньги она представляет... просит там остановить торги, – проговорил он нетвердым голосом.

– Как же это так? – спросил его опять непременный член, уставляя на него свои бессмысленные глаза.

– Да так... надо остановить... тут вот прямая статья

насчет этого подведена...

– Все же, брат, надо прежде доложить губернатору.

– Зачем же губернатору-то докладывать? Всякими пустяками беспокоить его, – возразил Иосаф, и у него уже сильно дрожали губы.

– Какие пустяки... хуже, как сам наскочит... тогда и не спасешься от него.

– Спасаться-то тут не от чего. Не первый год, кажется, служат с вами... Никогда еще ни под что вас не подводил.

– Что ж ты на меня-то сердисься!.. – возразил ему добродушно старик. – Я с своей стороны готов бы хоть сейчас, как бы не этакой башибузук сидел у нас наверху. Этта вон при мне за пустую бумажонку на правителя канцелярии взбесился: затопал... залопал... пена у рта... Тигр, а не человек.

– Да хоть бы он растигр был. Это дело правое... я и сам не восьмиголовый какой... Нечего тут сомневаться-то, подписывайте! – проговорил было Иосаф, привыкший почти безусловно командовать своим начальником.

Но старик на этот раз, однако, уперся.

– Нет, брат, как хочешь: доложить я доложу, а сам собой не могу, – проговорил он.

Иосаф только сплюнул от досады и вышел было из присутствия; но вскоре опять воротился.

– Пожалуйста, Михайло Петрович, подпишите, сделайте для меня хоть раз это одолжение. Я еще никогда не просил вас ни о чем, – произнес он каким-то жалобно умоляющим голосом.

– Только не это, брат, не это! – сказал старик окончательно решительным тоном.

Не совсем уже ясно понимая сам дела и видя такое настояние от бухгалтера, он прямо заподозрил, что тот, верно, хватил тут какой-нибудь значительный куш и хочет теперь его подвести.

– Вот отсохни мой язык, коли так! – воскликнул вдруг Иосаф, крестясь и показывая на образ. – Слова теперь не скажу вам ни по какому делу... Подписывайте сами, как знаете.

– Ну что ж? Бог с тобой, – говорил старик растерявшись. Иосаф, сердито хлопнув дверями, опять вышел и конец присутствия досидел, как на иголках. Возвратясь домой, он тоже, кажется, решительно не знал, что с собою делать: то ложился на диван, то в каком-то волнении вставал и начинал глядеть на свой маленький дворик. Там на протянутой от погреба до забора веревке висели и сушились его зимняя шинель, шуба, валеные сапоги и даже его осьмиклассный мундир и треугольная шляпа. Несколько дальше в тени, около бани, двое маленьких петушков старательнейшим образом производили между собою дра-



ку: по крайней мере по получасу стояли они, лукаво не шевелясь и нахохлившись друг перед другом, потом вдруг наскакивали друг на дружку, рассказывались и снова уставляли головенки одна против другой; но ничто это не заняло, как бывало прежде, Иосафа. Часов в семь он кликнул свою кухарку и велел себе дать умываться. При этом он до такой степени тер себе шею, за ушами и фыркал, что даже всю бабу забрызгал.

– Чтой-то больно уж сегодня размылись, – говорила она и принесла было по обыкновению ему старые штаны.

– Давай новые, все давай новое, – проговорил Иосаф и, поставивши ногу на стол, сам принялся себе чистить сапоги.

Надев потом фрак, он по крайней мере с полчаса причесывал бакенбарды, вытащил из них до десятка седых волос, и затем, надев несколько набекрень свою шляпу, вышел и прямым путем направил стопы свои к дому Дурындиных. Там его встретили совершенно как родного: Эмилия показалась Иосафу еще прелестнее; она одета была в черное шелковое платье. Талия ее до того была тонка, что, казалось, он мог бы обхватить ее своими двумя огромными пальцами; на ножках ее были надеты толстые на высоких каблуках ботинки, которыми она, ходя, кокетли-

во постукивала. Бжестовский был тоже по обыкновению разодет, но только несколько по-домашнему: он был в башмаках, в широких шальварах, завязанных шелковым снурком, без жилета, но в отличнейшем белье и, наконец, в коротеньком сереньком сюртучке, кругом выложенном красным снурком. Иосаф даже и не предполагал никогда, что мужчина может быть так одет. Чтобы не встревожить Эмилию, он объяснил ей только то, что просьбу он подал и деньги представил.

– Но боже мой! Мне по крайней мере надо вам дать расписку в них, – проговорила Эмилия сконфуженным голосом.

– Зачем же-с? Когда станете платить в Приказ, деньги ваши через мои же руки пойдут, тогда я и вычту свои, – отвечал Иосаф.

Бжестовский при этом посмотрел на него пристально и ничего не сказал, а Эмилия еще более сконфузилась. За чаем она по-прежнему угощала Иосафа самый радушным образом, и при этом он сам своими глазами видел, что она как-то таинственно взглядывала на него и полулукаво улыбалась ему. На лице Бжестовского тоже была написана какая-то странная усмешка.

Когда стемнело, человек подал лампу с абажуром. Эмилия уселась перед ней с работой. Прекрасные ручки ее, усиленно освещенные светом огня, провор-

но и ловко вырезывали на батисте дырочки и обшивали их тончайшей бумагой. Иосаф и эту картину видел еще первый раз в жизни.

– Скажите, вы давно служите в Приказе? – спросил его Бжестовский.

– Давно-с! Был тоже когда-то студентом... учился кой-чему, – проговорил Иосаф и, не докончив, потупил голову.

– Вы были студентом? – произнесла с участием хозяйка. – Как я люблю студентов: когда мы жили в Киве, их так много ходило к нам в дом.

Иосаф на это только вздохнул, как паровая машина: о, если бы хоть частичка этой любви выпала и на его долю!

– А что вы, женатый или холостой? – спросила Эмилия и, ей-богу, кажется, говоря это покраснела.

– Нет-с, я старый холостяк, – отвечал он.

– Почему же старый? – сказала Эмилия и устремила на него взгляд. – Может быть, вы много жили? – прибавила она.

При этом уж Иосаф весь вспыхнул.

– Напротив-с, – отвечал он.

С лица Бжестовского по-прежнему не сходила какая-то насмешливая улыбка.

– И вы даже в виду не имеете никакой партии? – вмешался он в разговор, как бы вторя сестре.

– Нет-с, какая партия, – отвечал Иосаф как бы несколько даже обиженным тоном.

– Отчего же? – простодушно спросила Эмилия.

– Судьбы, вероятно, нет-с.

– Ну – нет! Вы, кажется, такой добрый, что можете составить счастье каждой женщины... – проговорила Эмилия.

Иосаф чувствовал, что у него пот холодными каплями выступал на лбу. Бжестовский между тем встал и, как бы желая походить, прошел в дальние комнаты.

Иосаф остался с глазу на глаз с Эмилией.

– И вы никогда не были влюблены? – спросила она, низко-низко наклоняясь над работой.

Вопрос этот окончательно дорезал Иосафа.

– Может быть-с, не был, а теперь есть... – пробормотал он и от волнения зашевелил ногами под столом.

– Теперь? – повторила многозначительно Эмилия.

Бжестовский в это время возвратился. Иосаф, как-то глупо улыбаясь, стал глядеть на него. Однако, заметив, что Бжестовский позевнул, Эмилия тоже, по известной симпатии, закрыв ручкой рот, сделала очень миленькую гримасу, он не счел себя вправе более беспокоить их и стал прощаться. При этом он опять осмелился поцеловать у Эмилиии ручку и опять почувствовал, что она чмокнула его в темя. Бжестовский

опять проводил его самым любезным образом до дверей.

Проходя домой по освещенным луною улицам, Иосаф весь погрузился в мысли о прекрасной вдове: он сам уж теперь очень хорошо понимал, что был страстно, безумно влюблен. Все, что было в его натуре поэтического, все эти задержанные и разбитые в юности мечты и надежды, вся способность идти на самоотвержение, — все это как бы сосредоточилось на этом божественном, по его мнению, существе, служить которому рабски, беспротестно, он считал для себя наиприятнейшим долгом и какой-то своей святой обязанностью.

## VIII

Скрыпя перьями и шелестя, как мыши, бумагами, писала канцелярия Приказа доклады, исходящие. Наружная дверь беспрестанно отворялась. Сначала было ввалился в нее мужик в овчинном полушубке, которому, впрочем, следовало идти к агенту общества «Кавказ», а он, по расспросам, попал в Приказ. Писцы, конечно, сейчас же со смехом прогнали его.

После его вошла старушка мещанка, принеся то же положить в Приказ, себе на погребение, десять целковеньких и по крайней мере с полчаса пристававшая к Иосафу, отдадут ли ей эти деньги назад.

– Отдадут, отдадут, – отвечал он.

– Не обидьте уж, государь мой, меня, – говорила она и положила было ему четвертачок на конторку.

– Поди, старый черт, что ты! – крикнул он и бросил ей деньги назад.

– Виновата, коли так, кормилец мой... – проговорила старуха и, подобрав деньги, убралась.

Двери, наконец, снова отворились, и вошел непремный член с озабоченным лицом и с портфелем под мышкой. Вся канцелярия вытянулась на ноги, Иосаф тоже поднялся, чего он прежде никогда не делал. Член прошел в присутствие. Ферапонтов тоже

последовал за ним.

– Что, как-с? – спросил он, глядя на начальника.

– А на-те вот, посмотрите... полюбуйте, – отвечал тот и вынул из портфеля журналы Приказа, разорванные на несколько клочков. – Ей-богу, служить с ним невозможно! – продолжал старик, только что не плача. – Прямо говорит: «Мошенники вы, взяточники!.. Кто, говорит, какой мерзавец писал доклад?» – «Помилуйте, говорю, писал сам бухгалтер». – «На гауптвахту, говорит, его; уморю его там». На гауптвахту велел вам идти на три дня. Ступайте.

В продолжение этого рассказа Иосаф все более и более бледнел.

– Спасибо вам, благодарю – подо что подвели да насажали, – проговорил он.

– Что же я тут виноват?.. Чем?

– Чем?.. Да! – проговорил Иосаф, почти что передразнивая начальника. – Для вас, кажется, все было сделано, а вы в каком-нибудь пустом делишке не хотели удовольствия сделать. Благодарю вас!

– Что ж ты уж очень разблагодарствовался! – прикрикнул, наконец, старик, приняв несколько начальнический тон. – Тебе сказано приказанье: ступай на три дня на гауптвахту, – больше и разговаривать нечего!

– Это-то я знаю, что вы сумеете сделать, знаю это!.. – произнес почти с бешенством Иосаф и ушел;

но, выйдя на улицу и несколько успокоившись на свежем воздухе, он даже рассмеялся своему положению: он сам должен был идти и сказать, чтобы его наказали. Подойдя к гауптвахте, он решительно не находил, что ему делать.

Однако его вывел из затруднения стоявший на плацу молоденький гарнизонный офицерик, с какой-то необыкновенно глупой, круглой рожей и с совершенно прямыми, огромными ушами, но тоже в каске, в шарфе и с значком на груди.

– Что вам надо? – спросил он его строго.

– Меня на гауптвахту прислали, чтобы посадили, – отвечал Иосаф.

– А! Ступайте! Вероятно, за взяточки... хапнули этак немного, – говорил юный дуралей, провожая своего арестанта в офицерскую комнату, которая, как водится, имела железную решетку в окне; стены ее, когда-то давно уже, должно быть, покрашенные желтой краской, были по всевозможным местам исписаны карандашом, заплеваны и перепачканы раздавленными клопами. Деревянная кровать, с голыми и ничем не покрытыми досками, тоже, по-видимому, была обильнымместищем разнообразных насекомых. Из полупритворенных дверей в темном углу следующей комнаты виднелось несколько мрачных солдатских физиономий. Чувствуемый оттуда запах ма-



хорки и какими-то прокислыми щами делали почти невыносимым жизнь в этом месте. Иосаф сел и задумался. Всего грустней ему было то, что он три дня не увидит своего божества; но в это время вдруг на плацформе послышался нежный женский голос. Иосаф задрожал, и вслед же за тем в комнату вошла Эмилия, в белом платье, в белой шляпке и белом бурнусе, совершенно как бы фея, прилетевшая посетить его в темнице.

Иосаф мог встретить ее только каким-то не совсем искренним смехом.

– Боже мой, что такое с вами? – говорила Эмилия с беспокойством.

– Так, ничего-с! – отвечал Иосаф, продолжая смеяться.

– Как ничего! Брат сейчас был в Приказе, там говорят, что вас посадили за мое дело! – возразила Эмилия и с заметным чувством брезгливости присела на кровать.

– Ничего-с, так себе, потешиться захотели... – отвечал Иосаф. – Все ведь мы-с, чиновники, таковы!.. Не то, чтобы сделать что-нибудь для кого, а нельзя ли каждого стеснить и сдавить... точно войско какое, пришли в завоеванное государство и полонили всех.

– О нет, вы не такой! – говорила Эмилия, смотря на него почти с нежностью.

– Я вас прошу и умоляю, – продолжал Иосаф, прижимая руку к сердцу, – только об одном: не беспокоиться о вашем деле. Я для вас жизнь готов пожертвовать.

– Да, вы чудный человек, – подхватила Эмилия и задумалась.

Иосаф молча глядел на нее: сколько бы ему хотелось и надо было сказать ей, но ничего, однако, не осмеливался. Эмилия, наконец, встала.

– Как здесь нехорошо... грязно... – проговорила она и вздумала было прочесть одну из надписей на стенке, но в ту же минуту сконфузилась и отвернулась. – Прощайте, мой друг! Я буду еще у вас, – сказала она.

Иосаф по обыкновению поспешил поцеловать у нее ручку, и при этом она уже чмокнула его не в темя, не в щеку даже, но Иосаф так успел пригнать, что прямо в губы.

– О, какой вы хитрый, вы умеете воровать поцелуи! – проговорила она, вся вспыхнув, и проворно убежала.

Иосаф в восторге упал на диван и закрыл себе лицо руками.

## IX

Дня через два после того Ферапонтов шел по одному из самых глухих переулков. Почти уже на выезде из города он остановился перед старым, полуразвалившимся деревянным домом, с заколоченными наполовину окнами и с затворенною калиткою. Иосаф торкнулся было в нее; но оказалось, что она была заперта. Зная, вероятно, хорошо обычай хозяина, он обошел дом кругом и, перескочив, на задней его стороне, через невысокий забор, очутился в огромнейшем огороде, наглухо заросшем капустою, картофелем и морковью. Пройдя его, он вышел на двор, на котором то тут, то там виднелись почти с отвалившимися углами надворные строения. У колодца, перед колодой, неопрятная баба мыла себе судомойкой ноги.

– Клим Захарыч Фарфоровский дома? – спросил ее Иосаф.

– Дома, – отвечала баба.

Он пошел было на парадное крыльцо.

– Не туда, с заднего ступайте! – научила его баба.

Иосаф взошел по развалившейся лесенке на заднее крыльцо и попал прямо в темную переднюю. Чтобы дать о себе знать, он прокашлянул, но ответа не последовало. Он еще раз кашлянул, снова то же;

а между тем у него чем-то уже сильно ело глаза, так что слезы даже показались.

«Что за черт такой», – подумал про себя Иосаф и что есть силы начал стучать ногами.

– Кто там? – послышался, наконец, из соседней комнаты разбитый голос, и вслед за тем дверь из нее отворилась, и в нее выглянул белокурый, мозглявый старичок, с поднятыми вверх тараканьими усами, в худеньком, стареньком беличьем халате.

– Ферапонтов из Приказа! – объяснил ему Иосаф.

– А! Ну войдите, войдите, – сказал старичок и впустил его.

Первое, что бросилось Ферапонтову в глаза, – это стоявшие на столике маленькие, как бы аптекарские вески, а в углу, на комод, помещался весь домашний скарб хозяина: грязный самоваришко, две-три полинялые чашки, около полдюжины обгрызанных и треснувших тарелок. По другой стене стоял диван с глубоко просиженным к одному краю местом.

– Да! Так вот как! – сказал старичок, садясь именно на это просиженное место и утирая кулаком свои слезливые и как бы воспаленные глаза.

– Вот как-с, да! – отвечал ему в тон Иосаф и тоже сел и утер слезы.

– Это вы от луку плачете? У меня тут лук в наугольной сушится, – сказал ему хозяин, как-то кисло усме-

хаясь.

– Зачем же тут? Разве нет другого места? – спросил было Феррапонтов.

– А где же? В каком месте? – возразил Фарфоровский и уже злобно оскалился.

Как ни много Иосаф слышал об этом чудаке, однако почти с удивлением смотрел на его сморщенное и изнуренное лицо, на его костлявые и в то же время красные, с совершенно обкусанными ногтями, руки. Собственно по чину Фарфоровский был даже статский советник и некогда переселился в губернию из Петербурга, но всюду являлся каким-то несчастным: оборванный, перепачканный. Не столько, кажется, скупец, сколько человек мнительный, он давно уже купил себе этот старый домишко и с тех пор поправки свои в нем ограничил только тем, что поставил по крайней мере до шести подпорок в своей обитаемой комнате, и то единственно из опасения, чтобы в ней не обвалился потолок и не придавил его. В жаркий майский день Иосаф нашел его, как мы видели, в меховом тулупчике, и сверх того он еще беспрестанно боялся, что его отравят, и для этого каждое скудное блюдо, которое подавала ему его единственная прислужница-кухарка, он заставлял ее самое прежде пробовать. Покупая какую-нибудь ничтожную вещь, он десять раз придумывал, давал за нее цену, отпирался

потом; иногда, купив совсем, снова возвращался в лавку и умолял, чтобы ее взяли назад, говоря, что он ошибся. Дрожа каждую минуту, чтобы его не обокрали, он всю дрянь держал у себя в доме, даже дрова хранил в зале. Лук сушился в наугольной по той же причине. В отношении денег он более всего, кажется, предпочитал государственные кредитные установления, как самые уже верные хранилища, а потому в Приказ обыкновенно бегал по нескольку раз в неделю, внося то сто, то двести рублей, и даже иногда не брезговал сохранный книжкой, кладя под нее по целковому, по полтиннику.

– Вот вы все жаловались, что в Приказе проценты малы, – начал Иосаф.

– Али велики? – спросил Фарфоровский и опять злобно оскалился.

– Ну, так вот отдайте в частные руки. Я вам смаклею это... пятнадцать процентов получать будете.

Глаза у старика разгорелись.

– А залог какой? – спросил он торопливо.

– Да залогу тут совсем никакого нет, – отвечал Иосаф.

– Как же без залогу-то? – спросил Фарфоровский, как бы мгновенно исполнившись глубочайшего удивления.

– А вот как, – отвечал Ферапонтов и объяснил было

ему все дело Костыревой; но старик в ответ на это только усмехнулся.

– Сам ты, милый человек, – начал он уже наставительным тоном, – служишь при деньгах, а того не знаешь... Ну-ка, дай-ка мне из твоего Приказа-то хоть тышчонки две без залога-то. Дай-ко!

– То место казенное.

– А, казенное? То, вот видишь, казна, – зашипел Фарфоровский. – Казну сберегать надо; она у нас бедная... Только частного человека грабить можно.

– Кто ж вас грабит? – спросил Иосаф.

– Все вы! Вон эта полиция... у ней у самой сто лет перед домом мостовая не мощена; а меня заставляет: мости, где хошь бери, да мости!

– Вам-то пуще негде взять.

– Много у меня; ты считал в моем кармане-то.

– Известно, что считал. Умрете, все ведь останется, – сказал Иосаф, уже вставая.

– Умрешь и ты! Что ты меня этим пугаешь! Молодой ты человек, пришел к старику и огорчаешь его. Для чего! – вскинулся на него хозяин.

– С вами, видно, не сговоришь, – проговорил Иосаф и пошел.

– Да нечего: стыдно! Стыдно! – стыдил его хозяин.

Выйдя от Фарфоровского и опять пройдя двором и огородами и перескочив через забор, Иосаф прямо

же пошел еще к другому человечку – сыну покойного и богатеющего купца Саввы Родионова. Сам старик очень незадолго перед смертью своею, служа в Приказе заседателем, ужасно полюбил Иосафа за его басистый голос и знание церковной службы. Каждое воскресенье он звал его к себе в гости, поил, кормил на убой и потом, расчувствовавшись, усиленным образом упрашивал его прочесть ему, одним тоном, не переводя духу, того дня апостола, и когда Ферапонтов исполнял это, он, очень довольный, выворотив с важностью брюхо, махая руками и почти со слезами на глазах, говорил: «Асафушка! Мой дом – твой дом! Сам умру – сыну накажу это!..» Но, увы! Иосафу и в голову не приходило, что сын этот вовсе не походил на своего папеньку, мужика простого и размашистого. По своей расчетливости, юный Родионов был аспид, чудовище, могущее только породиться в купеческом, на деньгах сколоченном сословии: всего еще каких-нибудь двадцати пяти лет от роду, весьма благообразный из себя, всегда очень прилично одетый и даже довольно недурно воспитанный, он при этом как бы не имел ни одной из страстей человеческих. У него, например, был прекрасный экипаж и отличные лошади, но он и того не любил. Жил он в целом бельэтаже своего огромного дома с мраморными косяками, с новомодными обоями, с коврами, с брон-



зой, с дороною мебелью; но на всем этом, где только возможно, были надеты чехлы, постланы подстилки, которые никогда не снимались, точно так же, как никогда ни одного человека не бывало у него в гостях. Аккуратнейший в своей жизни, как часовая машина, он каждый день объезжал свои лавки, фабрики. В субботу обыкновенно разделявал всех мастеровых сам, и если какому-нибудь мужику приходилось с него 99 1/2 копейки, то он именно ему 99 1/2 и отдавал, имея для этого нарочно измененные денежки и полушки. В отношении значительных лиц в городе Родионов был чрезвычайно искателен; но это продолжалось только до первого приглашения к какому-нибудь пожертвованию. Напрасно тут его ласкали, стращали, он откланивался, отшучивался, но не подавался ни на одну копейку. Даже ни одной приближенной женщины он не имел у себя, и когда, по этому случаю, некоторые зубоскалы-помещики смеялись ему, говоря: «Что это, Николай Саввич, хоть бы ты на какую-нибудь черноглазую Машеньку размахнулся от твоих миллионов», – «Зачем же-с это? Женюсь, так своя будет», – отвечал он обыкновенно. Кто бы с ним ни говорил, особенно из людей маленьких и почему-либо от него зависящих, всякий чувствовал какую-то смертельную тоску, как будто бы перед ним стоял автомат, которого ничем нельзя было тронуть,

ничего втолковать и который только и повторял свое, один раз им навсегда сказанное.

В светлой, с дубовой мебелью, передней его Иосаф нашел старого еще знакомого своего, любимого приказчика покойного Саввы Лукича, совсем уж поседевшего и плешивого.

– Здравствуйте, батюшка Иосаф Иосафыч, – сказал тот, тоже признав его.

– А что, хозяин дома? – спросил Ферапонтов.

В ответ на это старик вынул из кармана круглые, старинные часы и, посмотрев на них, произнес:

– Теперь еще нет, а через двадцать минут будут дома!

– Да верно ли это?

– Верно... Это уж у нас верно! – отвечал старик.

В голосе его в одно и то же время слышалась грусть и насмешка.

Через двадцать минут Родионов действительно приехал.

– А, здравствуйте! Сюда пожалуйста, – сказал он, увидев Иосафа и проходя скорым, деловым шагом.

Далее, впрочем, залы он не повел его, а остановившись у дверей в гостиную, небрежно облокотился на нее.

– Что скажете? – спросил он.

– Я к вам, Николаи Саввич, с просьбой, – начал

Иосаф, переминаясь с ноги на ногу.

– Слушаем-с! – произнес Родионов.

Ферапонтов рассказал ему откровенно и подробно положение Костыревой.

– Так-с, понимаем, – проговорил Родионов, все как-то гордей и бездушнее начиная смотреть.

– А между тем из имения... – продолжал Иосаф убедительнейшим бы, кажется, по его мнению, тоном, – есть там покупщики – купить лес и мельницу, так что вся недоимка сейчас бы могла быть покрыта.

– Так, так-с!.. – повторял Родионов и как бы от нетерпения принялся качать ногою.

– Не можете ли вы, – договорил, наконец, Иосаф, – одолжить ей на какие-нибудь полгода две с половиной тысячонки, а что это верно, так третью тысячу я за нее свою вношу.

– Денег-то у меня таких нет-с, – отвечал наглейшим образом Родионов.

Иосаф даже попятился назад и усмехнулся.

– Как нет... помилуйте. В одном Приказе у вас лежит во сто раз больше того...

– Что-что лежит? Те деньги на другое нужны... Что тебе надо? – крикнул вдруг Родионов, переменив тон и обращаясь к оборванному мужику, который вошел было в переднюю и робко пробирался по подстилке.

– Я, Миколай Саввич, пропорцию свою, выходит, те-

перь выставил, – заговорил мужик, прижимая к сердцу свою скоробленную руку.

– Ну, и прекрасно.

– Управляющий ваш тоже теперь говорит: ступай, говорит, к Николаю Саввичу.

– Зачем же к Николаю-то Саввичу?

– Так как тоже, выходит, время теперь спешное: хоша бы тоже запашка теперь идет... хлебца мы покупаем.

– А вам что сказано при заподрядках? – спросил Родионов, устремляя на мужика свой леденящий душу взгляд. – Что сказано?

– Мы тоже, ваше степенство, хошь бы и наперед того, завсегда, выходит, ваши покорные рабы, – ломил между тем мужик свое.

– Да ты мне за деньги-то всегда покорен. Что ты меня тем ублажаешь. Нечего тут разговаривать... пошел вон!

– Так как тоже на знакомстве выходит; вон хошь бы и Калошинский барин; хорошо, говорит, везите, говорит, я, говорит, покупаю.

– Ну, коли покупает, так и ступай к нему. Убирайся.

Мужик, однако, постоял еще немного, почесал у себя затылок и потом неторопливо поворотил и пошел назад.

– У богатых, указывают, денег много, – снова об-

ратился Родионов к Иосафу, – да ведь у богатого-то человека и дыр много; все их надобно заткнуть. Тебе что еще?.. – крикнул он опять на высокого уже мало-го, стриженного, в усах, и с ног до головы перепачканного в кирпиче, который как бы из-под земли вырос в передней. – Кто ты такой?

– Солдат... печник, ваше благородие, – отвечал тот, молодцевато вытягиваясь.

– Что же тебе?

– Сложил печку-с; совсем готова.

– Ну и ладно. Деньги ведь к командиру пойдут.

– Точно так-с, ваше благородие.

– Ну, и ступай, значит.

– На водочку бы, ваше благородие, – проговорил солдат просительным уже тоном.

– А не хочешь ли на прянички?.. Ты бы лучше на прянички попросил, – проговорил Родионов.

Солдат сконфузился.

– Обнаковение уж, ваше благородие, такое, – про-бормотал он.

– Никаких и ничьих обыкновений я знать не хочу, а у меня свое; значит, налево кругом и машир на гаус.

Солдат действительно повернулся налево кругом и вышел.

Во все это время Иосафа точно с головы до ног обливали холодной водой, и только было он хотел еще

раз попробовать повторить свою просьбу, как из гостиной вышел худощавый и очень, должно быть, изнуренный молодой человек.

– Что? Вы написали расчет? – спросил его Родионов, перенося на него свой леденящий взгляд.

– Написал-с, – отвечал тот почтительно.

– До свиданья, – обратился Родионов к Иосафу и сейчас же ушел к себе.

## Х

Несколько минут Ферапонтов оставался, как бы ошеломленный, на своем месте: на Родионова он возлагал последнюю свою надежду. Однако вдруг, с совершенно почти несвойственным ему чутьем, он вспомнил еще об одном отставном майоре Одинцове, таком на вид, кажется, добром, проживавшем в Порховском уезде, в усадьбе Чурилине, который, бывая иногда в Приказе, все расспрашивал писцов, кому бы ему отдать в верные руки деньги на проценты. Не откладывая времени, Ферапонтов решил сейчас же ехать к нему. Утомленный, измученный, он сбегал наскоро домой, почти ничего не пообедал и сейчас же отправился искать извозчика. Не обращая внимания на то, что с него сходил в тот день по крайней мере уже девятый пот, что его немилосердно жгло и палило солнце в бока, в затылок, он быстро шагал по распаленному почти тротуару около постоянных дворов, из которых в растворенные ворота его сильно обдавало запахом дегтя, кожи и навоза. Заходя то в тот, то в другой, он, наконец, нашел парня, который знал усадьбу Чурилино, но самого парня еще надобно было отыскать: он пил где-то в харчевне чай с земляками, так что только в вечерни выехала к услугам Иоса-

фа, там, откуда-то с задов, телега, запряженная парю буланных лошадей. Сидевший на облучке извозчик, с продолговатым лицом и с длинным кривым носом, оказался таким огромным мужчиной, что скорей пригоден был ворочать жернова, чем управлять своими кроткими животными. Выехав из города, они сейчас же своротили на проселок. Иосаф, в чиновничьем пальто, с включенными и запыленными бакенбардами и в фуражке с кокардой, полулежал на своей кожаной подушке и смотрел вдаль... Как ни горько было у него на душе, но свежий загородный воздух проник в его грудь, и сердце невольно забилося радостью. Почти пятнадцать лет он не выезжал из города, а между тем открывающиеся виды все становились живописнее и живописнее.

Вот они спускаются по ровному скату, расходившемуся во все стороны. На нем, живописно оживляя всю окрестность, гуляло по крайней мере до ста коров. Дорога шла, направляясь к кирпичному, красного цвета, строению, с белевшим перед ним прудом. Путникам нашим пришлось проезжать почти по самому краю его, так что они даже напугали плававших тут в осоке гусей, которые, при их приближении, шумно и быстро отплыли в сторону. Поднявшись от пруда в гору, они увидели маленькую кузницу и закоптелого, в кожаном колпаке, кузнеца, возившегося у станка с ло-



шадью. При виде их он им поклонился и молча погрозил извозчику, как человеку, вероятно, ему знакомому, молотом. Тот тоже погрозил ему кнутом. Далее потом пошли уже настоящие сельские хлебные поля. В деревне, по вытянутой в прямую линию улице, бежали мальчишки отворить им ворота.

– Славно, ребята, славно! – говорил им извозчик, быстро проезжая.

Мальчишки бежали за ними вперегонку отворить и другие воротцы.

– Ай-да, ребята! Назад поеду, беспременно по трепке каждому привезу! – отблагодарил он их на прощанье, и в то же время, кажется, ему ужасно хотелось заговорить с своим седоком.

– Это вон гавриловского барина усадьба-то, – сказал он, показывая на видневшиеся далеко-далеко строения. – Вся, братец ты мой, каменная, – прибавил он.

– Что же, он богат, видно? – спросил Иосаф.

– И, господи, сколько деньжищев; а холостой... не хочет жениться-то!..

И затем они проехали около каких-то, должно быть, заводов и, как-то пробравшись задами, мимо гумен, хмельников, вдруг наткнулись опять на деревню, но уже с отворенными воротцами. У крайней избы, на прилавке, стоял прехорошенький мальчик и ревмя ре-

вел.

– Не плачь, не плачь, воротимся, – сказал ему ямщик.

– Да я не об вас, а об мамоньке, – отвечал ребенок.

– Эко, брат, а я думал, что об нас, – говорил зубоскал.

На половине улицы они очутились ровно перед тремя дорогами.

– О, черт! Тут, пожалуй, заплутаешь, надо поспросить, – сказал извозчик и, ловко соскочив с передка, подошел к одной избе и начал колотить в подоконник кнутовищем.

– Эй, баушка, где ты тут засохла, – выглянь-ка! – произнес он, и в окно в самом деле выглянула старуха.

– Как тут ехать в Чурилово: направо, налево или прямо в зубы?

– Ой, чтой-то, господь с тобой, зачем в зубы?.. По-езжай налево, – отвечала старуха.

– А как расстоянье-то ты обозначишь? Далеко ли еще?

– Да верст пять...

– Это ладно! Кабы не так спешно было, так в гости бы к тебе заехали. Прощай! Поворотов не будет?

– Ну, какие повороты! – заключила старуха, смотря на него с заметным удовольствием, когда он опять

молодцевато вскочил на передок и поехал.

В перелеске потом они встретили идущего по опушке мужика с топором. Извозчик не утерпел и с ним заговорил:

– Что, дядя, далеко ли до Чурилова?

– Верст семь будет, – отвечал тот сердито, уходя за кусты.

– Спасибо, что мало накинул, экой добрый, – говорил балагур... – Речка-то какая славная, – прибавил он, подъезжая к мосту. – Вот напиться бы: вода какая чистая...

– Ну, напейся, – сказал ему Иосаф, и извозчик, кинув вожжи, прямо с телеги соскочил через перила на берег и, наклонившись, напился из пригоршней.

– Солонины этой проклятой на постоялом дворе налопаешься, ужась как пьется! – сказал он и с полнейшим удовольствием, подобрав вожжи, погнал лошадей во все лопатки.

– Вон оно самое Чурилово и есть! – сказал он, мотнув головой на открывшуюся совершенно голую усадьбу, торчавшую на гладком месте, без деревца и ручейка и даже, кажется, без огорода.

Иосаф между тем начинал чувствовать всю щекотливость своего положения: ехать в первый раз в дом и прямо просить денег, черт знает что такое! Но зато извозчик не унывал: как будто бы везя какого-нибудь ге-

нерала, он бойко подлетел к воротам на красный, огороженный простым огородом двор и сразу остановил лошадей. Окончательно растерявшийся Иосаф начал вылезать из телеги, и странная, совершенно неожиданная сцена представилась его глазам: на задней галерее господского дома, тоже какого-то обглоданного, сидела пожилая, толстая и с сердитым лицом дама и вязала чулок; а на рундучке крыльца стоял сам майор Одинцов, в отставном военном сюртуке, в широких шальварах и в спальных сапогах. Он выщелкивал языком «Камаринскую» и в то же время представлял рукой, что как будто играет на балалайке, между тем как молодой дворовый малый, с истощенным и печальным лицом, в башмаках на босу ногу, отчаянно выплясывал перед ним на песке. По временам майор взмахивал рукой, и малый, приостановясь в ухарской позе и вскинув руками, шевелясь всем телом, как делают это цыгане, начинал гагайкать: Ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха! Майор при этом тоже прихлопывал в ладоши и прикрикивал: Ха, ха, ха, ха! Ха, ха, ха, ха!

– Иван Дмитрич, прекратите, наконец, это! К нам кто-то приехал, – сказала ему вполголоса дама.

– А, извините! – проговорил майор, увидев подходящего Иосафа и сходя к нему с крыльца.

– Извините!

Иосаф, в свою очередь, тоже извинился и назвал

свою фамилию.

– Вы меня, может быть, не узнали? – прибавил он.

– Напротив, душевно рад... Каково пляшет? – прибавил майор, указывая на стоявшего уже в вытяжку малого.

Иосаф не мог при этом не заметить, что лицо хозяина сильно пылало, а из рта несло как из винной бочки.

– Однако позвольте же вам представить: супруга моя, Настасья Ардальоновна! – сказал, расшаркиваясь, майор и показывая на даму. – Прошу покорнейше в комнаты. Ты тоже иди! – прибавил он парню.

Все вошли в залу: Феррапонтов впереди, а хозяин сзади его и все продолжая расшаркиваться. Хозяйка явилась через другие двери и сейчас же села и приняла как бы наблюдательный пост. В комнате этой, несмотря на ходивший всюду сквозной ветер, почему-то сильно пахло кошками.

– Позвольте мне перед вами потанцевать? – проговорил вдруг майор, усадив гостя.

– Сделайте одолжение, – отвечал Иосаф.

– Мазурку вам угодно? – продолжал хозяин.

– Что вам угодно, – отвечал Иосаф.

– Иван Дмитрич, надобно бы, кажется, это оставить, – произнесла хозяйка, но майор только махнул ей рукою.

– Митька! – крикнул он.

В залу вошел тот же малый.

– Мазурочный вальс! Играй и учись у меня!

Парень подошел к стоявшему в углу полинялому ящику, похимостил что-то тут около него и, воткнув в дыру висевший на стене ключ, начал им вертеть. Оказалось, что это был небольшой органчик: «Трым-трым! Трым-трым!» – заиграл он мазурку Хлопицкого, и майор, как бы ведя под руку даму, нежно делая ей глазками, пошел, пристукивая ногами, откалывать та-нец.

– Но, может быть, вам скучно это? Угодно вальс? – сказал он, сделав несколько туров и обращаясь к Иосафу.

– Иван Дмитрич, прекратите это, – молила его жена.

– Мне все равно-с, – отвечал Иосаф.

– Вальс! – скомандовал майор малому, и тот, опять что-то похимостивши у ящика, заиграл вальс.

Майор, держа несколько голову набок, начал вертеться в три па.

– Ух! Нынче уставать стал: не могу много, – сказал он, останавливаясь перед Иосафом. – Позвольте же, однако, предложить вам рюмку водки. Малый, водки!

– Нет, уж этого по крайней мере не будет! – сказала хозяйка, как-то решительно вставая.

– Чего-с? – произнес майор, и всю правую щеку у него подернуло.

– А того, что этого нельзя, – проговорила она и вышла.

– Ты, харя, пошел, подавай! – повторил майор малому.

Тот нехотя вышел.

– Как ваше здоровье? – обратился майор опять к Иосафу.

– Слава богу-с, – отвечал тот.

– Очень рад с вами познакомиться, – прибавил майор, протягивая ему руку. – Митька!

Митька снова показался.

– Водки! Убью!

– Барыня заперла и не изволит-с давать.

– Цыц! Убью! Поди встань передо мной на колени.

Малый, совсем уж бледный, подошел и встал.

– Кто такой я?.. Говори!.. Я села Чурилова Семен майор Одинцов... Водки – живо!

– Да помилуйте, сударь, разве я-с?.. Барыня.

– Убью! Вот тебе! – крикнул майор и ударил бедняка в ухо, так что тот повалился.

– Полноте, что вы делаете? – вскричал, наконец, Иосаф, вскакивая и подходя к майору.

– Кто ты такой? – проговорил тот, обращая уже к нему свое ожесточенное лицо.

– Я Ферापонтов, а вы не шумите.

– Как ты смел ко мне приехать! Кто ты такой? Пошел

вон! Убью! – кричал майор и кинулся было к Иосафу драться, но тот, и сам весь день раздражаемый, вышел из себя.

– Прежде чем ты убьешь меня, я тебя самого задушю, – сказал он и, схватив хозяина за шиворот, оттолкнул от себя.

– Караул! Режут! – завопил майор, падая со всего размаха между стульями головой.

– Ну да, покричи еще! – говорил Иосаф и, оборотясь к малому, прибавил: – Поди, брат, пожалуйста, скажи, чтобы мои лошади ехали за мною.

Тот побежал.

– Пошел вон! Убью! – кричал между тем майор.

Иосаф, выйдя на крыльцо, всплеснул только руками.

– Что это такое, господи ты боже мой! Зачем я приехал к этому скоту? – произнес он и пошел один по дороге.

Невдолге, впрочем, его нагнал и извозчик, и едва Иосаф уселся в телегу, как он сейчас же начал болтать.

– Попали же мы, паря, на гости... Седьмое ведро, братец ты мой, на этой неделе уж оторачивает.

– Что ж он запоем, что ли, пьет? – спросил Иосаф.

– Должно быть, есть маненько... парит черта-то в брюхе... С утра до вечера на каменку-то поддает. Я



теперь поехал, так словно ополченный какой ходит по двору, только то и орет: «Убью, перережу всех!» Людишки уж все разбежались, а барыня так ажно в сусек, в рожь, зарылась. Вот бы кого хлестать-то!

– Уж именно, – подтвердил Ферапонтов.

– Куда же ехать, однако? – заключил извозчик, поворачивая к нему свое добродушное и вместе с тем насмешливое лицо.

Иосаф, подумав некоторое время, проговорил:

– Поедем к гавриловскому барину; авось тот не таков.

– Известно, тот барин крупичастый, а ведь это что?.. Орженовики! – объяснил извозчик и погнал рысцой своих лошадок, бежавших вряд ли уж не шестидесятью версту не кормя. Солнце между тем садилось, слегка золотя ярко-розовым цветом края кучковатых облаков, скопившихся на горизонте. По влажным сенокосным лугам начал подниматься беловатый густой туман росы, и кричали то тут, то там коростеля. Версты через четыре показалось, наконец, и Гаврилково. Точно феодальный замок, возвышалось оно своим огромным домом с идущими от него вправо и влево крыльями флигелей. Прямо от него начинал спускаться под гору старинный густо разросшийся сад, а под ним шумно и бойко протекала лучшая во всем околотке река. Проехав по мосту и взобравшись в гору

по дорожке, обсаженной липами, Иосаф не осмелился подъехать прямо к дому, а велел своему извозчику сходить в который-нибудь флигель и сказать людям, что запоздал проезжий губернский чиновник из Приказа, Ферापонтов, и просит, что не примут ли его ночевать.

Извозчик сбегал.

– В дом, к барину велели вас звать, – повестил он Иосафа с удовольствием.

Тот пошел.

На нижних ступенях далеко выдающегося крыльца стоял уже и дожидался его ливрейный лакей. Он провел Иосафа по широкой лестнице, устланной ковром и установленной цветами, и, сняв потом с него, без малейшей гримасы, старое, запыленное пальтишко, проговорил тихо:

– В гостиную пожалуйте!

Иосаф робко прошел по темной зале с двумя просветами и в гостиной, слабо освещенной столовой лампой, он увидел на стенах огромные, масляной краски, картины в золотых рамках, на которых чернели надписи: Мурильо<sup>8</sup>, Корреджио<sup>9</sup>. Висевшая над

---

<sup>8</sup> Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) – выдающийся испанский художник.

<sup>9</sup> Корреджио – Корреджо, настоящее имя – Антонио Аллегри (около 1489 или 1494—1534) – крупнейший итальянский художник.

дверьми во внутренние комнаты толстая ковровая портьера, наконец, заколыхалась, и из-за нее показался хозяин, высокий мужчина, с задумчивыми, но приятными чертами лица, несколько уже плешивый и с проседью; одет он был в черное, наглухо застегнутое пальто и, по начинавшей уже тогда вкрадываться между помещиками моде, носил бороду.

– Я вас немножко знаю, – сказал он любезно, подавая Иосафу руку.

Тот тоже объявил, что имел счастье видеть его иногда в Приказе.

– Прошу вас, – сказал Гаврилов, показывая гостю на одну сторону дивана и садясь сам на другой его конец. – Вы, вероятно, были у кого-нибудь из родных или знакомых ваших в нашем уезде? – спросил он его мягким и ровным голосом.

– Нет-с, я ежду-с по одному адвокатному делу, в котором и к вам бы имел покорнейшую просьбу, – начал прямо Иосаф, вставая перед Гавриловым на ноги.

– Ваш покорнейший слуга, – отвечал тот, потупляя свои умные глаза.

– Дело-с это принадлежит госпоже Костыревой... Может быть, даже вы изволите ее знать.

– Костыревой?.. – повторил Гаврилов. – Костырева я знал.

– Это ее покойный муж. Он оставил ей теперь очень

запутанное именье, из которого она желала бы продать лес и мельницу, и вот именно по этому предмету поручила мне обратиться к вам.

– Ко мне? – спросил Гаврилов, как бы несколько удивленный.

– Да-с, продать она готова весьма дешево, и с ее стороны единственное условие, чтобы деньги доставить ей теперь же, а купчую получить после, когда именье будет очищено по Приказу.

– Но что же меня удостоверит, что именье будет очищено? – сказал Гаврилов уже с улыбкой.

– Вы сами можете, если вам угодно, внести прямо от своего имени деньги в Приказ.

– Да, – произнес Гаврилов размышляющим тоном, – но в таком случае, что меня обеспечит, что эти мельница и лес будут именно мне проданы?

– Насчет этого-с вы изволите с продавицей заключить домашнее условие.

– Да, – повторил Гаврилов еще более протяжно и задумчиво, – но об этом надо подумать, – прибавил он и, попрося снова Иосафа садиться, сейчас же переменял разговор. Он стал расспрашивать его о капиталах Приказа, его оборотах, не высказывая с своей стороны ни одной мысли, но зато с самым вежливым вниманием прислушиваясь ко всем ответам Ферапонтова. За ужином, который последовал часов в один-

надцать, были поданы на серебряных блюдах разварная рыба и жареная дичь, так прекрасно приготовленные, что Иосаф даже никогда ничего подобного и не едал. Кроме того, Гаврилов несколько раз из своих рук подливал ему в стакан весьма высокой цены медаку, так что герой мой даже начал конфузиться от такого рода внимания. Когда вышли из-за стола, он осмелился еще раз повторить свою просьбу и спросить, когда он может получить ответ.

– Я вам завтра же скажу, – отвечал Гаврилов и чрезвычайно радушно приказал одному из своих лакеев проводить гостя в приготовленную для него комнату.

Как ни мило и ни уютно было прибрано в этой спальне, как ни покойна была приготовленная постель с чистым, как снег, бельем, однако Иосаф всю ночь проворочался, задавая себе вопрос: даст ли Гаврилов денег, или нет? Поутру, узнав от лакея, что барин еще не выходил, он, чтобы как-нибудь сократить время, вышел в сад и, выбрав случайно одну дорожку, прямо пришел к оранжерее. Боже мой! Сколько увидел он тут цветов и за стеклами и на вольном воздухе, в стройном порядке рассаженных по куртинам. Половине из них Иосаф даже и названия не знал, но все-таки, безмерно восхитившись душой, начал рассматривать то тот, то другой, нюхать их, заглядывать вовнутрь их махровых чашечек. В самой оранжерее,

при виде гигантской зелени, растущей то широкими лопастями, то ланцетовидными длинными листьями, у Иосафа окончательно разбежались глаза, и в то время, как он так искренно предавался столь невинному занятию, почти забыв о своем деле, сам хозяин думал и помнил о нем, ходя по своему огромному кабинету.

Глядя на умное и выразительное лицо Гаврилова, на его до сих пор еще величественный стан, конечно, каждый бы почувствовал к нему невольное сердечное влечение; а между тем как странно и безвестно прошла вся жизнь этого человека: еще в чине поручика гвардии, глубоко оскорбившись за то, что обойден был ротой, он вышел в отставку и поселился в Бакалайском уезде, и с тех пор про него постоянно шла такого рода молва, что он был примерный сын в отношении своей старушки-матери, женщины очень богатой, некогда бывшей статс-дамы, а потом безвестно проживавшей в своем Гаврилкове, и больше ничего об нем нельзя было сказать.

Даже небогатые соседи и соседки, допускаемые иногда статс-дамою до своей особы, безмерно удивлялись, видя, что такой умный молодой человек, в полном развитии сил и здоровья, целые дни сидит у старушки, в ее натопленной спальне, обитой по всем четырем стенам коврами, с лампадками, с иконами, и сохраняет к ней такое обращение, какого они от своих

сынков во всю жизнь и не выдывали. Раза четыре по крайней мере в год Гаврилов ездил с матерью на богомолье, не позволяя при этом случае никому ни посадить, ни высадить ее из экипажа. Узнав ее желание, чтобы хозяйство шло несколько построжее, он объехал все деревни, выбил там самую старую недоимку, сменил и пересек нескольких старост, докладывая ей о каждой мелочи и испрашивая на все ее разрешения.

О женитьбе, так как сама старушка никогда не намекала на это, он не смел, кажется, и подумать и даже обыкновенную легкую помещичью любовь не позволил себе завести у себя дома, а устроил это в уездном городке, верст за тридцать от Гаврилкова, с величайшей таинственностью и платя огромные деньги, чтобы только как-нибудь это не огласилось и, чего боже сохрани, не дошло до татан!

Тридцатого марта сорок восьмого года старуха, наконец, умерла. Удар этот, казалось бы, должен был сильно нравственно потрясти Гаврилова. Однако нет! С глубоко огорченным выражением в лице, он всеми приготовлениями к парадным похоронам распоряжался сам; своими собственными руками положил мертвую в гроб, в продолжение всей церемонии ни одной двери, которую следовало, не забыл притворить, и тотчас же, возвратясь после похорон домой, заперся в спальне покойницы, отворил и пересмотр-

рел все ее хитро и крепко запертые комоды и шифоньеры. Сколько он там нашел, неизвестно, но только в продолжение довольно значительного времени во всей его благородной фигуре было видно выражение какого-то самодовольства, как бы от сознания новой, до сих пор еще не испытанной им силы, а затем страсть к корысти заметно уже стала отражаться во всех его действиях. Точно так же, как прежде по-виноваться матери, теперь делать деньги сделалось как бы девизом его жизни. Ни с кем почти из соседей не поддерживая тесного знакомства и только слегка еще оставляя заведенную старухю в домашней жизни роскошь, он то и дело что хозяйничал: распро-странял усилением барщины хлебопашество, скупал с аукциона небольшие сиротские именья, вступал в сподручные к его деревням подряды, и все это он совершал как-то необыкновенно тихо, спокойно и даже несколько задумчиво, как будто бы он вовсе ничего и не делал, а все это само ему плыло в руки.

Стяжав от всего почти дворянства имя прекраснейшего человека, Гаврилов в самом деле, судя по наружности, не подпадал никакого рода укору не только в каком-нибудь черном, но даже хоть сколько-нибудь двусмысленно-честном поступке, а между тем, если хотите, вся жизнь его была преступление: «Раб ленивый», ни разу не добыв своим плечиком копейки, он



постоянно жил в богатстве, мало того: скопил и довел свое состояние до миллиона, никогда ничем не жертвуя и не рискуя; какой-нибудь плантатор южных штатов по крайней мере борется с природою, а иногда с дикими племенами и зверями, наконец, улучшает самое дело, а тут ровно ничего! Ни дела, ни борьбы, ни улучшения, а сиди себе спокойно и копи, бог знает за чем и для чего! И как всегда в этом случае бывает: чем больше подрастал золотой телец Гаврилова, тем сам он к нему становился пристрастней и пристрастней: даже в настоящем случае (смешно сказать) он серьезно размышлял о грошовом предложении Иосафа, из которого, по его расчетам, можно бы было извлечь выгоду, и только все еще несколько остававшийся в нем аристократический взгляд на вещи помешал ему в том.

«Какая-то Костырева, которой мужа он знал за гадкого пьяницу; наконец, этот неуклюжий шершавый ходо-датель, и связаться с этими господами... Нет, черт с ним!» – решил он мысленно и проворно позвонил.

– Попроси ко мне этого господина чиновника, – сказал он вошедшему лакею.

Через несколько времени Иосаф явился бледный и с замирающим сердцем.

– Я не могу идти на предлагаемое вами дело, – начал Гаврилов.

Иосафа покорило.

– Отчего же-с?.. Помилуйте, – проговорил он до смешного жалобным голосом.

– Оттого, что это совершенно выходит из заведенного мною порядка, – сказал Гаврилов таким покойным и решительным тоном, что Иосаф окончательно замер, очень хорошо понимая, что с пьяным майором, с жидомором Фарфоровским, даже с аспидом Родионовым, можно было еще говорить и добиться от них чего-нибудь, но с Гавриловым нет.

Забыв всякую деликатность, Иосаф сейчас же начал раскланиваться.

– Зачем же? Вы позавтракайте у меня, – проговорил Гаврилов опять уже приветливым голосом.

Иосаф болтнул ему что-то такое в извинение и стал раскланиваться.

– Очень жаль, – говорил Гаврилов, неторопливо вставая и провожая его до половины гостиной.

Добравшись до своего экипажа, Ферапонтов, как тяжелый хлебный куль, опустился на него и сказал глухим голосом своему вознице: «Пошел!» Тот обернулся и посмотрел на него.

– Да что вы, с делами, что ли, с какими ездите по господам этим? – спросил он.

– Езжу денег занимать и нигде не могу найти, – отвечал неторопливо Иосаф.

– И здешний не дал?

– Нет.

– Поди ж ты! – произнес извозчик, и покачал головой. – К старухе, братец ты мой, разве к одной тут, небогатой дворяночке, заехать, – прибавил он подумав. – Старейшая старуха, с усами седыми, как у солдата; именья-то всего две девки.

– А деньги есть?

– Есть! Прежде давала, одолжала кой-кого, по знакомству. Тогда покойному батьке – скотской падеж был, две лошади у него пали – слова, братец ты мой, не сказала, ссудила ему тогда сто пятьдесят рублей серебром, – мужику какому-нибудь простому.

– Вези к ней, – сказал Иосаф.

– Ладно, – отвечал извозчик и с заметным удовольствием сейчас же поворотил на другую дорогу, по которой, проехав с версту, они стали спускаться с высочайшей горы в так называемые реки. Пространство это было верст на тридцать кругом раскинувшиеся гладкие поемные луга, испещренные то тут, то там пробежавшими по ним небольшими речками. Со всех сторон их окружали горы, на вершинах которых чернели деревни, а по склонам расстилались, словно бархатные ковры, поля, то зеленеющие хлебом, то какого-то бурого цвета и только что, видно, перед тем вспаханные. Выбравшись из этой ложбины, путники

наши поехали по страшной уже бестолочи: то вдруг шли ни с того ни с сего огромнейшие поля, тогда как и жилья нигде никакого не было видно, то начинался перелесок, со въезда довольно редкий, но постепенно густевший, густевший; вместо мелкого березняка появлялись огромные осины и сосны, наконец, представлялась совершенная уж глушь; но потом и это сразу же начинало редеть, и открывалось опять поле. Утомленный бессонницей нескольких ночей, Иосаф задремал и затем, совсем уж повалившись на свою кожаную подушку, захрапел. Его разбудил уж извозчик, говоря: «Барин, а барин!» Он открыл глаза и привстал. Они ехали по узенькому прогону к какому-то, должно быть, селу. На крылечке новенького деревянного и несколько на дворянский лад выстроенного домика стояла здоровая девка, с лентой в косе, с стеклянными сережками и в босовиках с оторочкой.

– Здорова, красноногая гусыня! – сказал извозчик, подъезжая к ней и останавливая лошадей.

– На-ка кто? Михайло! Откуда нелегкая несет?

– С барином езжу.

– Еще, пес, словно выше вырос, – продолжала девка.

– Да к тебе-то уж очень больно рвался, так и по-вытянуло, знать, маненько. Дома барыня-то?

– Дома!

– Вылезайте, – сказал извозчик Иосафу, но тот медлил.

– Ты сходи прежде сам и объясни ей прямо мое дело, а то мне вдруг неловко, – произнес он нерешительным голосом.

– Пожалуй-с! – отвечал извозчик и, откашлянувшись, пошел на крыльцо.

– О, черт, толстая какая! – сказал он и ударил девку по плечу.

– Ой, да больно! Чтой-то, леший! – сказала та, взглянув на него ласково.

Из комнаты потом послышались усиленные восклицания извозчика: «С барином ежду-с»; затем следовал какой-то гул, потом снова голос извозчика и опять восклицание: «С барином – право-с».

Девка между тем, поджав руки на груди, глядела на Иосафа.

– Нови, что ли, вы собирать приехали? – спросила она.

Тот вспыхнул.

– Нет, – отвечал он, отворачиваясь и стараясь избегнуть ее взоров.

– Пожалуйте-с! – крикнул ему извозчик из сеней.

Иосаф не совсем смело пошел.

В первой же со входа комнате он увидел старуху, в самом деле с усами и бородой, стриженую, в капо-

тишке и без всяких следов женских грудей. Она сидела на диванчике, облокотившись одной рукой на столик и совершенно по-мужски закинув ногу на ногу.

Ферапонтов раскланялся ей.

– Здравствуйте! – проговорила она почти басом.

Иосаф, утирая с лица платком пыль, сел на дальний стул.

– Что вы, из самой губернии, что ли?

– Из губернского города-с.

– Пошто же вы от Гаврилова-то едете?

– Я езжу по делу, о котором вам, может быть, говорил мой извозчик...

– Не знаю... болтал он что-то такое тут... Я и не разобрала хорошенько... Какие у меня деньги!

– Мы бы вам были самые верные плательщики, – сказал Иосаф, сделав при этом по обыкновению умиленное лицо.

– Никаких у меня денег нет, что он врет? Марфутка!

В горницу вошла та же девка, но что-то уж очень покрасневшая, как будто бы она сейчас только с кем-нибудь сильно играла.

– Готово ли там у тебя?

– Готово, барыня, – отвечала она.

– Ну, вы посидите тут; а я в баню схожу! – сказала старуха, обращаясь к Иосафу.

И затем, слегка простонав, приподнялась и ушла.

Ферапонтов вслед ей только вздохнул и от нечего делать пересел к растворенному окну. В другое окно из избы, выстроенной в одной связи с барской половиной, выглядывала улыбающаяся и довольная рожа его извозчика. Таким образом прошло около двух часов. В это время Иосаф видел, что Марфутка, еще более раскрасневшаяся, с намоченной головой и с подтыканным подолом, то и дело что прибежала из бани на пруд за холодной водой, каждый раз как-то подозрительно переглядываясь с извозчиком. Наконец, старуху, наглухо закутанную и с опущенной, как бы в бесчувственности, головой, две ее прислужницы – Марфа, совсем уже пылавшая, и другая, несколько постарше и посолидней ее на вид, – втащили в комнату под руки и прямо опустили на диванчик. От нее так и несло распаренным телом и бобковой мазью. Несколько минут она не подымала головы и не открывала глаз, так что Иосаф подумал, не умерла ли уж она.

– Не дурно ли им? – спросил он.

– Нету-тка-с! – отвечала Марфа. – Семь веников исхлестала об нее, за неволю очекуреешь! – прибавила она шепотом и вышла.

– Палагея! – произнесла, наконец, старуха.

– Я здесь, матушка, – отвечала другая девка, почтительно приближаясь к барыне.

– Заварила ли травки?

– Заварила, матушка-барыня, заварила.

– Подавай. Чаю у меня нет, а я богородицыну травку пью, – объявила старуха Иосафу.

Палагея между тем возвратилась и принесла в пригоршнях, прихватив передником, муравленный с рыльцем горшочек, аккуратно разостлала потом перед барыней на столе толстую салфетку и вынула из шкафчика чайную чашку и очень немного медовых сотов на блюдечке.

– Налей! – приказала ей та.

Палагея налила в чашку какой-то буроватой жидкости.

Старуха, беря по крошечке сотов и сося их, начала запивать своим напитком и после каждого почти глотка повторяла:

– Ой, хорошо! Так и жжет в брюшке-то. Может, и вы хотите? – отнеслась она к Иосафу; но тот отказался. – Ну, так вы поели бы чего-нибудь, – продолжала старуха и взглянула на свою прислужницу. – В печке у тебя брюква-то?

– В печке, матушка, с утра не вынимала.

– Принеси.

Палагея опять вышла и на этот раз уж приворотила целую корчагу с пареной брюквой, до такой степени провонявшей, что душина от нее перебил даже запах



бобковой мази. Она своей грязной рукой выворотила Иосафу на тарелку огромнейшую брюкву, подала потом ему хлеба и соли; но как он ни был голоден, однако попробовал и не мог более продолжать.

– Что вы не едите? С маслом оно вкусней. Подай масло-то.

Девка подала; но Иосаф и с маслом не мог; зато сама старуха взяла никак не менее его кусище и почти с нежностью принялась его есть... По возрасту своему она дожила уже, видно, до того полудетского состояния, когда все сладковатое начинает нравиться.

– Вы ступайте спать на сеновал. У меня там хорошо, – сказала она Иосафу и потом сейчас же вскрикнула: – Марфутка!

Та явилась и была уже совершенно расфранченная: с причесанной головой, в чистой рубашке и в новом сарафане.

– Проводи вот их! – приказала барыня.

Иосаф видел, что со старухой о деньгах нечего было и разговаривать: он печально поклонился ей и пошел. Марфутка провела его через сени, и, когда он несколько затруднился прямо без лесенки влезть на помост, она слегка подсадила его. В полутемноте Иосаф рассмотрел постланную ему на сене постель. Он снял с себя только фрак и лег; под ним захрустело и сейчас же к одному боку скатилось пересохлое се-

но; над головой его что-то такое шумело и шелестело; он с большим трудом успел, наконец, догадаться, что это были развешанные сухие веники по всевозможным перекладинам. К утру его начал пробирать сильный холод; во всех членах он уже чувствовал какую-то сжимающую, неприятную ломоту и совершенно бесполезно старался поукутываться маленьким, худеньким одеялишком, не закрывавшим его почти до половины ног.

«Ах ты, старая чертовка, куда уложила», – думал он, и в это время вдруг раздались шаги то туда, то сюда, и послышался гул сиповатого голоса хозяйки. Наконец, он явственно услышал, что она кричала: «Господин чиновник! Господин чиновник! Пожалуйста сюда!» Иосаф проворно накинул на себя свой фрак и спустился с помоста в сени. Здесь он увидел, что в растворенных наотмашь дверях стояла, растопырив руки, рассвирепелая старуха. Она была в одной рубашке и босиком. Перед ней, как-то смиренно поджав живот и опустив главки в землю, но точно такая же нарядная, как и вчера, предстояла Марфа. Несколько поодаль, и тоже, должно быть, чем-то очень сконфуженный, стоял извозчик его Михайло.

– Господин чиновник! Я вот вам свидетельствую, что этот мерзавец... с этой моей подлой тварью... помилуйте, что это такое? – объяснила Иосафу старуха,

показывая на извозчика и на девку.

– Да чтой-то, сударыня, какие вы, барыня, право! – говорил Михайло, отворачивая глаза в сторону. – Только себя, право, беспокоите... – прибавил он и подлетел было к ее ручке.

– Прочь, развратитель!! – крикнула на него старуха. – Можете себе представить, – обратилась она опять к Иосафу, – всю ночь слышу топ-топ по чердаку то туда, то сюда... Что такое?.. Иду... глядь, соколена эта и катит оттуда и подолец обдергивает. Гляжу далее: и разбойник этот, и платочком еще рожу свою закрывает, как будто его подлой бороды и не увидят.

– Да я, право, сударыня... – заговорил было опять Михайло.

– Молчи и сейчас же бери своих одров и долой с моего двора. Я не могу терпеть в моем доме таких развратников. А тебя, мерзавка, завтра же в земский суд, завтра! – продолжала старуха, грозя девке пальцем. – Помилуйте, – отнеслась она снова к Иосафу, – каждый год, как весна, так и в тягости, а к Успенкам уж и жать не может: «Я, барыня, тяжела, не молу». Отчего ж Палагея не делает того? Всегда раба верная, раба покорная, раба честная.

– Матушка, это тоже божья власть! – ответила, наконец, и Марфа. – Палагея также не лучше нас, грешных; но так как сухой человек, так, видно, не пристаёт

к ней этого.

– Молчи! – крикнула на нее старуха. – А ты убирайся: нечего тебе тут и стоять, вытянувши свою подлую харю!

Извозчик пошел.

– Позвольте уж и мне в таком случае проститься, – проговорил Иосаф.

– Как вам угодно! Ваша воля! Я вам не поперетчица, – проговорила старуха и торжественно ушла в комнату.

Девка тоже, не поднимая глаз, убралась в кухню.

Иосаф отыскал свою фуражку и пальтишко. Выйдя на крылечко, он нашел, что Михайло стоял уже тут на своей паре и только на этот раз далеко был не так разговорчив, как прежде. Иосаф, несмотря на свою скромность, даже посмеялся ему:

– Что, брат, попался?

– Да поди ж ты ее, старую ведьму, какова она! – отвечал Михайло как-то неопределенно и во всю остальную дорогу не произнес ни одного слова.

# XI

Всего еще только благовестили к поздним обедням, когда они подъехали к городу. Иосаф велел себя прямо везти к Приказу.

– Пришел наш черт-то, явился откуда-то, – перешепнулись между собой молодые писцы, когда он проходил, не отвечая почти никому на поклоны, через канцелярию в присутствие.

Член уж был там и собирался ехать к губернатору.

– Что это вы не ходили? – спросил он.

– Болен был-с, – отвечал Иосаф.

– Ну, примите без меня, если что спешное будет, – проговорил старик, уходя.

– Хорошо-с, – отвечал Иосаф и остался в присутствии.

Он подошел по обыкновению к своему любимому окну и стал грустно смотреть в него.

– Здравствуйте, батюшка Иосаф Иосафыч, – раздался почти над самым ухом его какой-то необыкновенно вежливый голос.

Бухгалтер обернулся – это был бурмистр графа Араксина, всего еще мужик лет тридцати пяти, стройный, красавец из себя, в длинном тончайшего сукна сюртуке, в сапогах с раструбами, с пуховой фу-

ражкой и даже с зонтом в руке, чтобы не очень загореть на солнце.

– Взнос за вотчину! – проговорил он, проворно вытаскивая из кармана своих плисовых штанов огромную пачку ассигнаций и кладя на стол. – Квитанцию, Иосаф Иосафыч, нельзя ли, сделать божескую милость, к имению выслать, – прибавил он.

– К имению?

– Да-с, так как я тоже теперь еду в саратовские вотчины. Его сиятельство, господин граф, так и писать изволили: деньги, говорит, ты внеси, а квитанция чтобы, говорит, здесь была, по здешним, значит, приходо-расходным книгам зачислена.

– Где ж тут нам пересылать? Завалается еще как-нибудь! – проговорил Иосаф, механически считая деньги.

– Да ведь это, сударь, что ж такое? Все единственно... Ежели мы теперь деньги внесли, все одно покойны, хошь бы они, сколь ни есть, тут пролежали.

В печальном лице Иосафа вдруг как бы на мгновение промелькнул луч радости.

– Ты когда сюда вернешься? – проговорил он каким-то странным голосом.

– Да ближе рождества, пожалуй, что не обернешь; не воротишься ранее.

– Тогда сам и получишь квитанцию.

При этих словах у Иосафа заметно уже дрожал голос.

– Слушаюсь, – отвечал покорно бурмистр.

– Тогда и получишь, – повторил Иосаф.

– Слушаю-с. Сделайте милость, батюшка, уж не оставьте.

– Будь покоен, – говорил Ферапонтов, потупля глаза.

– Желаю всякого благополучия, – сказал бурмистр, раскланиваясь.

– И тебе того же, любезный, желаю, – отвечал Иосаф и подал даже бурмистру руку.

Тот, очень довольный этим, еще раз раскланялся и вышел.

Выражение лица Ферапонтова в ту же минуту изменилось: по нем пошли какие-то багровые пятна. Он скорыми шагами заходил по комнате, грыз у себя ногти, потирал грудь и потом вдруг схватил и разорвал поданное вместе с деньгами бурмистром объявление на мелкие кусочки, засунул их в рот и, еще прожевав их, сел к столу и написал какую-то другую бумагу, вложил в нее бурмистровы деньги и, положив все это на стол, отошел опять к окну.

Спустя недолго воротился и непременно член. Кряхтя и охая, он уселся на свое место.

– Взнос тут есть, – проговорил Иосаф, не оборачи-

ваясь и продолжая смотреть в окно.

Старик, надев очки, стал неторопливо просматривать бумагу.

– А, ну вот, – Костырева внесла, – проговорил он, наконец.

Иосафа подернуло.

– Михайло Петрович, позвольте мне опять домой уйти, я опять себя чувствую нехорошо, – произнес он.

– Ступайте, ступайте, в самом деле вы какой-то пересовращенный, – сказал начальник, глядя на него с участием.

Иосаф, по-прежнему ни на кого не глядя, прошел канцелярию. Спустившись с лестницы и постояв несколько времени в раздумье, он пошел не домой, а отправился к дому Дурындиных. Там у ворот на лавочке он увидел сидящего лакея-казачка.

– Дома господа? – спросил он.

– Никак нет-с, – отвечал тот.

Иосаф побледнел.

– Где же они?

– Гулять ушли-с на бульвар.

У Иосафа отлегло от сердца.

– Ну, так и я туда пойду, – проговорил он уже с улыбкой и, вынув из кармана рубль серебром, дал его лакею.

Тот даже удивился.



– Они там-с наверное, – подтвердил он.

Иосаф проворно зашагал к бульвару. На средней главной аллее он еще издали узнал идущего впереди под ручку с сестрою Бжестовского, который был на этот раз в пестром пиджаке, с тоненькой, из китового уса, тросточкой и в соломенной шляпе. На Эмилиии была та же белая шляпа, тот же белый кашемировый бурнус, но только надетый на голубое барежевое платье, которое, низко спускаясь сзади, волочилось по песку. Какой-то королевой с царственным шлейфом показалась она Иосафу. На половине дорожки он их нагнал.

– Ах, Асаф Асафыч! – воскликнула Эмилия и заметно сконфузилась. – Скажите, где вы это пропадали?

– Я ездил-с и сейчас только вернулся, – отвечал Иосаф и тут только, встретясь с такими нарядными людьми, заметил, что он был небрит, весь перемаран, в пуху и в грязи, и сильно того устыдился. – Извините, я в чем был в дороге, в том и являюсь! – проговорил он.

– О, боже мой, только бы видеть вас! – сказала Эмилия и, оставив руку брата, пошла рядом с Иосафом. – Но где ж вы именно были? – спросила она.

– Я ездил-с по вашему делу. Оно кончено теперь... Я сегодня и деньги уже внес.

– Нет, не может быть? – воскликнула Эмилия рас-

терянным голосом, и щечки ее слегка задрожали и покрылись румянцем, на глазах навернулись слезы.

– Внес-с, – отвечал Иосаф, тоже едва сдерживая волнение.

– Брат! Асаф Асафыч говорит, – продолжала Эмилия, относясь к Бжестовскому, – что он наше дело кончил и внес за нас.

– Не может быть! – воскликнул тот, очень, кажется, в свою очередь, тоже удивленный. – Но где же вы денег взяли?

– Я занял тут у одного господина! – отвечал с улыбкой Иосаф. – Теперь только надо поскорее продать вам лес и мельницу.

– Ну да, непременно, как можно скорее! – проговорила с нервным нетерпением Эмилия.

– Я готов хоть завтра же ехать, – отвечал, пожимая плечами, Бжестовский.

– Да уж, пожалуйста; а то мне, пожалуй, худо будет, – проговорил Иосаф и опять улыбнулся.

– Боже мой! Я опомниться еще хорошенько не могу, – говорила Эмилия, беря себя за голову. – Асаф Асафыч, дайте мне вашу руку, – прибавила она.

Иосаф подал.

– Но, может быть, вы не любите с дамами ходить под руку, – сказала она, пройдя несколько шагов.

– Напротив-с, – это для меня такое блаженство, –

отвечал Иосаф.

Эмилия крепко оперлась на его руку. Герой мой в одно и то же время блаженствовал и сгорал стыдом. Между тем погода совершенно переменилась; в воздухе сделалось так тихо, что ни один листок на деревьях не шевелился; на небе со всех сторон надвигались черные, как вороново крыло, тучи, и начинало уж вдали погромливать.

– Боже мой, мой бедный бурнус! – воскликнула Эмилия, показывая на упавшие на него две-три дождевики.

– Прикажете, я позову извозчика! – предложил Иосаф.

– Да, пожалуйста, бурнус и шляпка еще ничего; но я в прунелевых ботинках: промочу ноги и непременно заболею.

– Сейчас-с! – отвечал Иосаф и бегом побежал к воротам бульвара, из которых была видна извозничья биржа.

– Извозчик! Извозчик! – закричал он благим матом. Их подъехало несколько. Иосаф выбрал самые покойные пролетки и, посадив на них Эмилию, другое место хотел было уступить Бжестовскому.

– Садитесь, Асаф Асафыч; брат дойдет и пешком, – сказала Эмилия.

– Я дойду, – отвечал Бжестовский, кивая головой и

по-прежнему не переставая улыбаться той странной улыбкой, которая почти не сходила с его лица, когда он видел Иосафа.

Тот сел около своей дамы несколько боком. Извозчик, желая довести господ домой до дождя, погнал во все лопатки. Мостовая, как водится, была мерзейшая. Пролетка кидалась из стороны в сторону. Эмилия беспрестанно прижималась к Иосафу почти всей грудью, брала без всякой осторожности его за руку и опиралась на нее. Положение Ферапонтова начинало становиться невыносимым: у него то бросалась кровь в голову, то прилиwała вся к сердцу. Когда подъехали к дому, он едва сообразил, что ему следует попроворней встать и подать его даме руку.

– Пойдемте, Асаф Асафыч; брат не скоро еще подойдет, – сказала она и побежала на лестницу.

Не зная, как понимать эти слова, Иосаф последовал за нею. Эмилия сняла шляпку и бурнус и сделалась еще милее. На дворе в это время ударил проливной дождь, и становилось темнее и темнее: в комнатах стало походить как бы на сумерки.

Гость и хозяйка начали ходить по зале.

– Я посылала к вам по крайней мере раз пять человека, – говорила Эмилия, – но сказали, что вы уехали, а куда – неизвестно. Это было немножко жестоко с вашей стороны.

– Я не предполагал так долго проездить, – оправдывался Иосаф.

В эту минуту ударил сильнейший гром, так что задрожали все окна.

– Я начинаю, однако, уж бояться, пойдете в угольную, там темнее, и я сторы спущу, – сказала Эмилия и пошла в угольную, где, в самом деле, спустила сторы и села на угольный диванчик.

Таким образом они очутились почти в полутемноте. Иосаф, сев рядом с хозяйкой, сначала решительно не находил, что сказать.

– Вы позволите мне посещать вас, когда братец уедет? – спросил он, наконец.

– О да! Разумеется! – отвечала Эмилия.

На несколько минут они опять замолчали.

– Это такое для меня счастье, – заговорил снова Иосаф.

– Я это знаю, – проговорила протяжно Эмилия.

– Вы знаете? – повторил, в свою очередь, Иосаф и сам уже, не помня как, протянул свою руку, как потом в его руке очутилась рука Эмилии. Он схватил и начал ее целовать; мало того, другой рукой он обнял ее за талью и слегка потянул к себе.

– О, вы опять хотите украсть поцелуй, – произнесла она.

– Да-с, – отвечал Иосаф и начал ее целовать раз...

два.

– Тсс, постойте: брат приехал! – сказала вдруг Эмилия и, проворно встав, вышла.

Бжестовский действительно входил в залу. Иосаф едва осмелился выйти к нему.

– А я сейчас от дождя зашел к вам в Приказ, – отнесся к нему Бжестовский, – там действительно по нашему делу все уж кончено.

– Все уж? – спросила Эмилия, не поднимая глаз и как бы затем только, чтоб что-нибудь сказать.

– Я вам-с говорил, – произнес Иосаф.

Бжестовский между тем что-то переминался.

– Нам бы вас, Иосаф Иосафыч, – начал он, – следовало сегодня попросить откушать у нас, выпить бы за ваше здоровье; но, к ужасной досаде, мы сами сегодня дали слово обедать у одних скучнейших наших знакомых.

Эмилия посмотрела на брата.

– Помилуйте, не беспокойтесь, – отвечал Иосаф.

– Надеюсь, однако, что завтра или послезавтра мы поправим это.

Иосаф раскланялся.

– Что ж, Эмилия, подите, одевайтесь же! – прибавил Бжестовский сестре.

Та опять посмотрела на него.

– До свиданья, мой добрый друг, – сказала она, про-

тягивая Иосафу руку, которую тот, чтоб не открыть перед братом тайны, не осмелился на этот раз поцеловать и только как-то таинственно взглянул на Эмилию и поспешил уйти: его безумному счастью не было пределов!

На другой день часов еще с семи он начал хлопотать по Приказу, чтобы все бумаги по делу Костыревой были исполнены, и когда они, при его собственных глазах, отправлены уже были на почту, ему вдруг подали маленькую записочку. Почувствовав от нее запах духов, Иосаф побледнел. Слишком памятным для него почерком в ней было написано:

«Мой добрый друг! Мы решили с братом, что и я с ним еду в деревню по моему делу. Каждую минуту буду молить об вас бога за все, что вы сделали для меня; мы скоро будем видаться часто, Ваша Эмилия».

Иосаф схватился за дверной косяк, чтобы не упасть. Неровными шагами он вошел потом в присутствие и опять объявил старику члену, что он болен и не может сидеть.

– Какой вы – а? На себя совсем не похожи стали! – говорил тот, всматриваясь в него.

– Мне очень нехорошо-с! – отвечал Иосаф и ушел.

– Удрал и сегодня! – сказал зубоскал столоначальник 1-го стола, показывая на него глазами.

– С похмелья, должно быть, ломает! – объяснил столоначальник 2-го стола, человек, как видно, положительный.

– Они и этта-с не больны были, а ездили в уезд в гости, – донес было ему сидевший в его столе Петров.

– А ты почему знаешь, узнаватель! – огрел его столоначальник.

– И мутит же только, господи, с этого винища кажинного человека! – подхватил со вздохом столоначальник 1-го стола.

Иосаф между тем сидел уже в своей маленькой квартире. Он по крайней мере в сотый раз перечитывал полученную им записочку и потом вдруг зарыдал, как ребенок: тысячу смертей он легче бы вынес, чем эту разлуку с Эмилией!



## XII

Я только что возвратился с одного кляузного следствия и спал крепким сном. Вдруг меня разбудили. «Пожалуйте, говорят, к губернатору». – «Что еще такое?» – подумал я почти с бешенством, но делать было нечего: встал. В передней меня действительно дожидался жандарм.

– Разве губернатор еще не спит? – спросил я его.

– Никак нет, ваше благородие.

– Что же он делает?

– Гневаться изволят.

Я почесал только в голове и, велев закладывать лошадь, дал себе решительное слово окончательно объясниться с этим господином, потому что не проходило почти недели, чтобы мы с ним не сталкивались самым неприятным образом.

Когда я выехал, на улицах был совершенный мрак и тишина. Жандарм ехал за мной крупной рысью. В доме губернатора я застал огонь в одном только кабинете его. Он ходил по нем взад и вперед в расстегнутом сюртуке и без эполет. Засохшая на губах беленькая пена ясно свидетельствовала о состоянии его духа.

– Любезнейший! Ступайте сейчас и посадите в острог бухгалтера Приказа Ферापонтова! – сказал он

мне довольно еще ласковым голосом.

Я посмотрел на него.

– По какому-нибудь делу, ваше превосходительство?

– Он там деньги украл из Приказа. В канцелярии вы получите предписание.

– И в нем будет сказано, чтоб я посадил его в острог?

– Да-с! – отвечал губернатор, и беленькая пенка на губах его опять смокла. – Вы будете производить дело вместе с полицмейстером. Миротворить не извольте.

Далее разговаривать, я знал, что было нечего, а потому поклонился и вышел.

В канцелярии я в самом деле нашел полицмейстера, косоного, рябого подполковника. В полной форме, с перетянутой шарфом талией и держа в обеих руках каску, стоял он и серьезнейшим образом смотрел, как писец записывал ему предписание в исходящую.

– Что это такое за дело? – спросил я его.

– Деньги в Приказе пропали; бухгалтер цапнул.

– Но с какой же стати? Он, сколько я его знаю, честный человек.

– Понадобились, видно, – отвечал полицмейстер, засовывая предписание за борт мундира. – Поедемте, однако, – прибавил он.

Я пошел. Мне всегда этот человек был противен, но

в настоящую минуту просто показался страшен. Он посадил меня к себе на пролетку, и пожарная пара понесла нас марш-марш.

Сзади за нами по-прежнему скакал жандарм.

– Барынька тут одна была. Он с ней снюхался и всыпал за нее в Приказ деньги графа Араксина! – объяснил мне коротко полицмейстер.

– Где ж она теперь?

– Да она-то ладила было прямо из деревни в Питер махнуть. На постоялом дворе уж я ее перехватил. Сидит теперь там под караулом.

Перед маленьким деревянным домом полицмейстер велел остановиться. Отворив наотмашь калитку, он прошел по двору и на деревянном прирубном крыльчике начал стучать кулаком в затворенную дверь. Ее отворила нам впотьмах баба-кухарка.

– Дома барин? – спросил полицмейстер.

Она что-то такое мыкнула нам в ответ. Полицмейстер, так же нецеремонно отворивши и следующую дверь, вошел в темное зальцо.

– Вставайте, от губернатора к вам приехали! – сказал он громко.

В соседней комнате что-то зашевелилось... шаркнулась спичка и загорелась синевато-бледным пламенем: Иосаф, босой, с растрепанными волосами и накинув наскоро халатишко, вставал... Дрожащими

руками он засветил свечку и вытянулся перед нами во весь свой громадный рост. Я почти не узнал его, до того он в последнее время постарел, похудел и пожелтел.

Надобно сказать, что и до настоящей ужасной минуты мне было как-то совестно против него. Служа с ним уже несколько лет в одном городе, я видался с ним чрезвычайно редко, и хоть каждый раз приглашал его посетить меня, но он отмалчивался и не заходил. Теперь же я решительно не знал, куда мне глядеть. Иосаф тоже стоял с потупленными глазами.

– Там барыня одна показала, что вы внесли за нее в Приказ деньги графа Араксина, – начал полицмейстер прямо.

– Где же она теперь-с? – спросил Иосаф вместо всякого ответа.

– Она здесь... теперь только вам надо дать объяснение, что вы действительно внесли за нее. Она этот долг принимает на себя.

– Как же это она принимает? – спросил опять Иосаф.

– Так уж, принимает, пишите скорее! Вот тут и чернильница есть, – проговорил полицмейстер и, оторвав от предписания белый поллист, положил его перед Иосафом. Тот с испугом и удивлением смотрел на него. Как мне ни хотелось мигнуть ему, чтобы он

ничего не писал, но – увы! – я был следователем, и, кроме того, косой глаз полицмейстера не спускался с меня.

– Пишите скорее! Губернатор дожидается, – сказал полицмейстер спокойнейшим голосом.

Иосаф взялся за перо. Полицмейстер продиктовал ему в формальном тоне, что он, Ферापонтов, действительно деньги графа Араксина внес за Костыреву. Иосаф написал все это нетвердым почерком. Простодушию его в эту минуту пределов не было.

– Ну, вот только и всего, – проговорил полицмейстер, засовывая бумагу в карман. – Теперь одевайтесь!

– Куда же-с? – спросил Иосаф.

– Куда уж повезут, – отвечал полицмейстер.

Иосаф начал искать свое платье; на глазах его видны были слезы. Я не в состоянии был долее переносить этой сцены и вышел; но полицмейстер остался с Ферапонтовым и через несколько минут вывел его в шинели и теплой нахлобученной фуражке. Выходя из комнаты, он захватил с собою свечку и, затворив двери, вынул из кармана сургуч, печать и клочок бумаги и припечатал ее одним концом к косяку, а другим к двери.

– Вот так пока будет; осмотр завтра сделаем. Горлов! – крикнул он.

К крыльчику подъехал жандарм.

– Спешься и отведи вот их в острог! – проговорил полицмейстер, указав головой на Иосафа.

Что-то вроде глухого стопа вырвалось из груди того.

Солдат слез с лошади.

– Привяжи его поводом за руку и отведи.

Солдат стал исполнять его приказание. Иосаф молча повиновался, глядя то на меня, то на полицмейстера.

– Позвольте мне по крайней мере лучше отвести господина Ферапонтова! – сказал я.

– Нет-с, так от губернатора приказано, – отвечал полицмейстер. – Отправляйся! – крикнул он на жандарма, и не успел я опомниться, как тот пошел.

Иосаф и лошадь последовали за ним.

– Зачем же это так приказано? – спросил было я; но полицмейстер не удостоил даже ответом меня и, сев на свои пролетки, уехал.

Я невольно оглянулся вдаль: там смутно мелькали фигуры Ферапонтова, жандарма и лошади. «Господи! Хоть бы он убежал», – подумал я и с помутившейся почти головой от того, что видел и что предстояло еще видеть, уехал домой.

## XIII

По делу Ферапонтова, под председательством полицмейстера была составлена целая комиссия: я, стряпчий и жандармский офицер.

Часов в десять утра мы съехались в холодную и грязную полицейскую залу и уселись за длинным столом, покрытым черным сукном и с зеркалом на одном своем конце. Занявши свое председательское место, полицмейстер стал просматривать дело. Выражение лица его было еще ужаснее, чем вчера.

Стряпчий, молодой еще человек, беспрестанно покашливал каким-то желудочным кашлем и при этом каждый раз закрывал рот рукою, желая, кажется, этим скрыть весьма заметно чувствуемый от него запах перегорелой водки. Жандармский офицер модничал. Я взглянул на некоторые бумаги – это были показания, отобранные полицмейстером в продолжение ночи от разных чиновников Приказа, которые единогласно писали, что Ферапонтов действительно в тот самый день, как принял деньги от бурмистра, внес и за Костыреву. Дело таким образом бедного подсудимого было почти вполовину уже кончено.

Через полчаса тяжелого и неприятного молчания рука в жандармской рукавице отворила одну из две-

рей, и в нее вошел Иосаф, совсем уже склоченный и с опавшим, до худобы трупа, лицом.

Полицмейстер не обратил на него никакого внимания. Иосаф прямо подошел к столу.

– Все, что я-с вчера писал, неправда! – проговорил он заметно насильственным голосом.

– Будто? – спросил полицмейстер, не поднимая ни головы, ни глаз.

– Я денег за госпожу Костыреву не вносил, – продолжал Иосаф.

– Зачем же вы вчера это говорили?

– Я испугался-с.

– Кого же вы это испугались? Мы вас не пугали.

– Я сам испугался.

– Нехорошо быть таким трусливым! – проговорил полицмейстер и позевнул. – Куда ж вы, если так, бурмистровы-то деньги девали? – прибавил он.

– Я их потерял-с.

– Да, потеряли. Это другое дело! – произнес полицмейстер, как бы доверяя словам Иосафа. – Отойдите, однако, немножко в сторону! – заключил он и сам встал. Иосаф отошел и, не могши, кажется, твердо стоять на ногах, облокотился одним плечом об стену.

Полицмейстер подошел между тем к другим дверям.

– Пожалуйте! – сказал он, растворяя их.



В залу тихо вышла Костырева, в черном платье, в черной шляпке и под вуалью. По одному стану ее можно уже было догадаться, что это была прелестная женщина. Жандармский офицер поспешил пододвинуть ей стул, на который она, поблагодарив его легким кивком головы, тихо опустилась. Я взглянул на Иосафа; он стоял, низко потупив голову.

– Примите у них шляпку, – сказал полицмейстер жандармскому офицеру.

– Madame, permettez<sup>10</sup>, – сказал тот Костыревой.

Она, как это даже видно было из-под вуали, взглянула на него своими прекрасными глазами, потом развязала неторопливо ленты у шляпки и сняла ее. Скорее ребенка можно было подозревать в каком-нибудь уголовном преступлении, чем это ангельское личико!

– Какого вы звания и происхождения? – спросил полицмейстер, кладя перед собой заготовленные уже заранее вопросные пункты.

– Я из Ковно, – отвечала Костырева.

– Я вас спрашиваю, – какого вы звания по отцу и матери? – повторил полицмейстер.

Эмилия заметно сконфузилась.

– Я, право, и не знаю; мать моя занималась торговлей.

– То есть она содержала трактирное заведение?

---

<sup>10</sup> Позвольте, сударыня (франц.).

– Я не знаю этого хорошенько; я была так еще молодая.

– Как вы не знаете, когда вы сами за конторкой стояли?

Костырева только посмотрела на него: на глазах ее заискрились слезы.

– Я не стояла ни за какой конторкой, – проговорила она.

– Не стояли? – повторил полицмейстер.

– К чему вы делаете подобные расспросы, которые к делу совершенно лишние? – вмешался я.

Полицмейстер удостоил только на минуту кинуть на меня свой косой взгляд.

– Вы думаете? – произнес он своим обычным подлым тоном и потом сейчас же свистнул.

В залу, гремя шпорами и саблей, проворно предстал другой уж, а не вчерашний жандарм.

– Позови сюда малого того! – сказал полицмейстер.

– Слушаю, ваше высочорodie, – крикнул жандарм и крикнул так, что даже Иосаф вздрогнул и взглянул на него.

Через минуту был введен казачок – лакей Костыревой.

– Вот бывшая твоя барыня, когда была девицей, стояла ли в трактире за прилавком? – обратился к нему полицмейстер.

У Костыревой загорелось лицо сначала с нижней части щек, потом пошло выше и выше и, наконец, до самого лба.

Малый тоже несколько позамялся.

– Так как тоже тем временем проживали мы с господином моим в номерах их, оне занимались этим, – отвечал он с запинкой.

– Как же вы говорите, что нет? – кротко спросил полицмейстер Костыреву.

– Господин полковник! Вы ставите меня на одну доску с моими лакеями, – проговорила она и закрыла глаза рукою.

– Зачем же вы отпустили его на волю? Вы думаете, что он из благодарности и скроет все. Ничего ведь не утаил: все рассказал! Пошел ты на свое место! – прибавил он малому.

Тот сконфуженным шагом вышел из залы.

Я нечаянно взглянул в это время на Иосафа. Он стоял, уже не понуриив голову, а подняв ее и вперив пристальный и какой-то полудикий взгляд на Костыреву. Она же, в свою очередь, всего более, кажется, и опасалась, чтобы как-нибудь не взглянуть на него.

– А скажите, что за история у вас была по случаю вашего замужества за господина Костырева? – продолжал полицмейстер.

У Эмилии задрожали губки, щечки, брови и даже

зрачки у глаз. Несколько минут она не могла ничего отвечать.

– Господин полковник! Вы, кажется, хотите только оскорблять меня, и потому позвольте мне не отвечать вам.

Полицмейстер пожал только плечами.

– Хуже же ведь будет, если я опять стану расспрашивать при вас вашего лакея. Наконец, я уж и знаю все, и скажу вам, что вы и ваша матушка подавали на господина Костырева просьбу, что он соблазнил вас и что вы находитесь в известном неприятном для девушки положении. Его призвали в тамошнюю, как там называется, полицию, что ли? Понапугали его; он дал вам расписку, а потом и исполнил ее. Так ли?

Костырева с вытянутыми судорожно руками, опустив головку и только по временам поднимая, как бы для вдоха, грудь, скорее похожа была на статую, чем на живую женщину.

– Так ведь? – повторил полицмейстер.

– Я говорила вам и повторю еще раз, что не хочу и не буду отвечать вам.

– Еще только один маленький вопрос, – подхватил полицмейстер. – В каких отношениях вы проживали здесь с господином Бжестовским?

– Он был мой жених, – отвечала Костырева.

На этом месте я нарочно взглянул на Иосафа. Он

по-прежнему стоял, не спуская с Костыревой совершенно как бы бессмысленных глаз.

– Отчего же вы выдавали его за брата? – продолжал полицмейстер.

– Я не хотела этого ранее говорить, так как жила с ним в одном доме и могла пройти худая молва.

– Да, конечно! Худая молва для женщины хуже всего! – произнес полицмейстер. – Вы обвенчались, однако, с господином Бжестовским тотчас, как имение ваше было выкуплено.

– Да!

– Это, господин Ферापонтов, вы устроили их свадьбу, внося за них в Приказ! Настоящим их посаженным папенькой были, а то без этого господин Бжестовский, вероятно, и до сих пор оставался бы вашим братом! – говорил полицмейстер, обращаясь то к Иосафу, то к Костыревой.

– Я внесла свои деньги, – проговорила та тихо.

– Как свои-с? – отозвался вдруг Ферапонтов. – Как свои-с? – повторил он.

Полицмейстер не ошибся в расчете, расспрашивая при нем Эмилию о разных ее деяниях. Бедный, простодушный герой мой рассердился на нее, как ребенок, и, видимо, уже не хотел скрывать ее.

– У меня есть свои семьсот рублей. Я заплачу их бурмистру, остальные пусть он с них спрашивает! –

прибавил он, обращаясь к полицмейстеру.

– Никаких я ваших денег не знаю и не видала, – проговорила Костырева.

– Не видали вы? – проговорил Иосаф, покачав головой. – Что же, разве я сумасшедший был, чтоб сделать это... Во сне не снилось, что вы не заплатите, а тут вдруг уехали... Я ни одной ночи после того не спал... писал... писал. Спрашивал, что же вы со мной делаете, так хоть бы слово написали.

– Что ж мне было отвечать на ваши странные письма? – проговорила Эмилия.

– Чем же странные!.. Ах, вы обманщица после того, коли так... В усадьбу потом как приехал, так и в ворота не пустили... потихоньку уж как-нибудь хотел пройти... тогда и не понял, а теперь, узнавши вас, все вижу: собаками было затравили – двух бульдогов выпустили, а за что все это...

На этом месте Иосафа прервал вошедший квартальный.

– Госпожу Бжестовскую к губернатору, ваше высококородие, требуют, чтобы их не спрашивали здесь, а с ним чтобы-с... – отрапортовал он полицмейстеру.

У того несколько раз подернуло лицо, и он быстро взглянул своим косым глазом на Эмилию. Она сидела, закусив губки, чтобы как-нибудь только удержаться от рыданий.

– Угодно ехать? – спросил ее полицмейстер, заметно уже более вежливым тоном.

Она, ни слова не ответив ему, взяла шляпку из рук жандармского офицера, опять поспешившего ей подать ее, торопливо пошла в прежние двери, из полурастворившейся половинки которой виднелась молодцеватая фигура Бжестовского. Он поспешил подать жене салоп, и оба они скрылись. Квартальный тоже последовал за ними.

Полицмейстер, видимо, остался сконфужен, как дикий зверь, у которого убегала из рук добыча.

– Вы подтверждаете ваше показание? – спросил он у Иосафа.

– Все-с, от слова до слова! – отвечал тот с лихорадочным блеском в глазах.

– Можете, значит, идти, – сказал полицмейстер и свистнул.

Опять явился жандарм.

– Отведи господина Ферापонтова, откуда привел.

– Слушаю, ваше высокоблагородие! – крикнул и на этот раз солдат.

Иосаф, ни на кого не взглянув, пошел.

– На сегодня довольно, – объявил нам полицмейстер и, собрав бумаги, взялся за каску.

Мы тоже взяли шляпы и разъехались.

## XIV

На другой день я, зная, что с губернатором на словах и говорить было нечего, решился написать к нему рапорт... Все еще, видно, я молод тогда был и не совсем хорошо ведал тех людей, посреди которых жил и действовал, и только уже теперь, отдалившись от них на целый почти десяток лет, я вижу их перед собою как бы живыми, во всем их страшном и безобразном значении... Я писал, что дело Ферапонтова нельзя производить таким казенным, полицейским образом, что он не вор и, видимо, что тут замешана или сильная страсть с его стороны, или вопиющий обман со стороны лиц, с ним участвующих. То и другое вызывает на милосердие к нему. Что можно, наконец, написать к графу Араксину, который, если только он хотя сколько-нибудь великодушный человек, не станет, вероятно, искать своих денег. Тут, однако, меня прервали и сказали, что ко мне жандарм пришел. Я велел его позвать к себе. Это был опять уже не вчерашний, а какой-то третьего сорта солдат, и совсем уж, кажется, дурак.

– Бумагу, ваше благородие, подписывать подьте в острог! – приказал он мне.

– Какую бумагу?



– Не могу знать, ваше благородие.

– Да кто тебя послал сюда?

– Из острога, ваше благородие, господин полицмейстер послал.

– Что же, сам он там?

– Тамо-тко, ваше благородие. Сейчас пригнал туда.

– Верно, там что-нибудь случилось?

– Не могу знать, ваше благородие.

Я только махнул рукой и поспешил поехать. Тяжелое предчувствие сдавило мне сердце.

Приехавши в острог, я прямо через караульную прошел в дворянское отделение. Там перед одной из камор, у отворенных дверей, стояла целая толпа арестантов и с любопытством глазела туда. Пробравшись через них, я первое что увидел – это на самой почти середине довольно темноватой комнаты, на толстом крюке, висевшего Иосафа, с почернелым и несколько опущенным вниз лицом, с открытым ртом, с стиснутыми зубами, с судорожно скорченными руками и с искривленными как бы тоже в судорогах ногами. Повесился он на трех-четырёх покровках простыни, из которых он свил веревку.

На столе перед свечкой сидел в шинели и с своей ужасной физиономией полицмейстер и писал.

– Удавился! – сказал он мне совершенно спокойным тоном, показывая глазами на труп.

– Это вы его довели, – сказал я.

– Будто! – произнес обычную свою фразу полицеймейстер. – Он сам пишет другое, – прибавил он и подал мне составленный им протокол, в котором, между прочим, я увидел белый лист бумаги, на которой четкой рукой Иосафа было написано: «Кладу сам на себя руки, не столько ради страха суда гражданского, сколько ради обманутой моей любви. Передайте ей о том».

– Снять покойника и стащить его в сторожку! Там потрошить-то будут! – распорядился полицеймейстер.

Вошли служители с лестницей, из которых один придержал ее на себе, а другой влез на нее и без всякой осторожности перерезал ножом полотняную веревку. Труп с шумом грохнулся на землю. Солдат, державший лестницу, едва выскочил из-под него. Я поспешил уйти. Полицеймейстер тоже вскоре появился за мной.

– Дело наше, значит, кончено, – сказал он.

– А как же Бжестовские? – спросил я.

У полицеймейстера совсем уж скопились глаза.

– Они еще вчера уехали. Сам губернатор отпустил их! – отвечал он.

– Как отпустил?

– Так. Часа четыре она была у него на допросе. Видно, во всем оправдалась! – отвечал полицеймейстер,

улыбаясь перекошенным ртом.

Приехавши домой, я действительно нашел губернаторское предписание, которым мне давалось знать, что дело Ферапонтова, за смертью самого преступника, кончено, а потому я могу обратиться к другим заботам.

Мне, признаться, сделалось не на шутку страшно даже за самого себя... Жить в таком обществе, где Ферапонтовы являются преступниками, Бжестовские людьми правыми и судьи вроде полицмейстера, чтобы жить в этом обществе, как хотите, надобно иметь большой запас храбрости!

# Примечания

Впервые рассказ появился в «Библиотеке для чтения» за 1861 год, № 1 (январь) с датой: «1860, ноября 23. Петербург».

Немногочисленные поправки и изменения, внесенные в текст «Старческого греха» при подготовке его для издания Ф.Стелловского, носили преимущественно стилистический характер.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично – по посмертным «Полным собраниям сочинений» и рукописям.